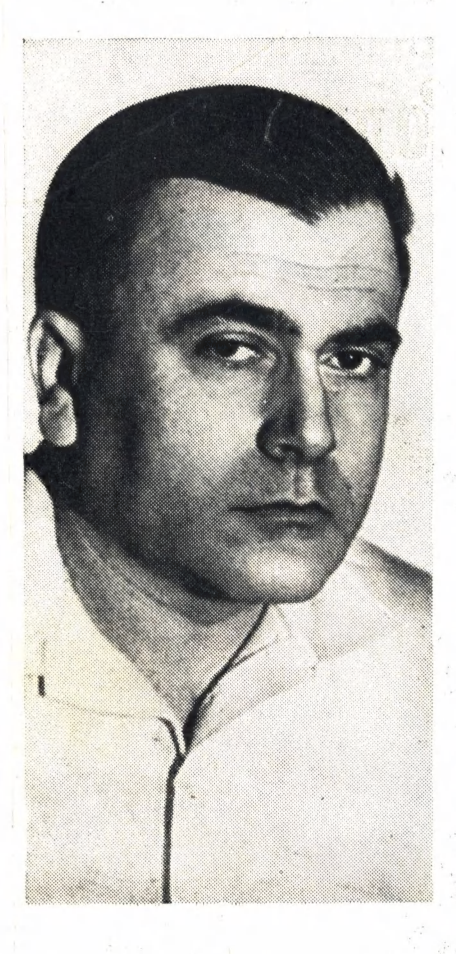
Библиотека советской фантастики

Михаил Анчаров

сода-Солнце





Михаил Леонидович Анчаров родился в 1923 году. В армию ушел в 1941 году с первого курса архитектурного института. После демобилизации в конце 1947 года работал художником, переводчиком, в 1948 году поступил в Московский художественный институт имени Сурикова на факультет живописи. Закончил его в 1954 году.

Помимо живописи, М. Анчаров начал заниматься литературой, писал стихи, рассказы, песни, сценарии. Первые поставленные фильмы — «Мой младший брат», «Аппассионата», затем «Иду искать».

Первые рассказы были опубликованы в 1964 году, в 1965 году вышли роман «Теория невероятности» и повесть «Золотой дождь», в 1967 году — роман «Этот синий апрель».

МИХАИЛ АНЧАРОВ

СОДА — СОЛНЦе

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ТРИЛОГИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“ 1968

Художники:
ГАЛИНА БОЙКО,
ИГОРЬ ШАЛИТО

сода-солнце



Как известно, при формулировании гипотезы автор сам допускает ее возможную ошибочность, чтобы в дальнейшем путем строгих опытов либо отвергнуть ее, либо подтвердить, может быть, видоизменив.

Академик
Н. СЕМЕНОВ

Богаче всего самое конкретное и самое субъективное. Индивидуальное содержит в себе как бы в зародыше бесконечное.

В. И. ЛЕНИН

А ДЛЯ ЧЕГО, СОБСТВЕННО!

Про него говорили: несерьезен, любит сенсации. А когда я с ним прощался, я смотрел на него и думал — все наоборот, он очень серьезен, он серьезно любит сенсации. Вот его позиция:

— Подумайте сами, что такое сенсация? «Сенсус» — чувство, «сенсация» — это потрясение чувств. Ну и что плохого в том, что человек любит потрясения? Идет трезвая жизнь, люди заняты повседневностью. Потом однажды человек оглядывается и видит — идет трезвая жизнь, люди заняты повседневностью. Ну, а дальше что? Из-за чего хлопотать? Еда? Одежда? Интересные поездки? А куда поездки? Дальше старости не уедешь, и все, что положено

увидеть тебе на твоем отрезке дороги, ты увидишь из окна вагона или из окна космолета. Господи, но ведь космолеты будут только тогда, когда их построят. А это будет когда? А до этого ждать, ждать, а жизнь помаленьку вытекает из бурдюка с дырочкой.

Когда ему предложили уйти, он меня спросил:

— А уверены ли вы в том, что археология имеет значение только для истории материальной культуры? А зачем ее изучать, эту культуру?

— Вот потому вас и увольняют, — сказал я, — что если копнуть поглубже, то оказывается, вы не знаете, зачем занимаетесь археологией.

— Нет, дорогой учитель, — сказал он. — Не потому меня увольняют. А потому меня увольняют, что я хочу копнуть поглубже. И именно в этом вижу задачу археологии.

— Каламбурите.

— Нет, — сказал он. — Не каламбурю. Просто вы все притворяетесь. Поскольку археология требует денег, вы притворяетесь, что изучаете прошлую культуру, чтобы помочь нынешней. А как ей поможешь? Ну, еще найдете два-три украшения, еще один черепок, на который в музее со скукой будут смотреть отличники из девятого класса, а те, кто поумней, будут перемигиваться с девочками из соседней экскурсии.

— Правильно вас увольняют.

— Конечно, правильно. Стараются убрать свидетеля преступления.

— Какого преступления? Думайте, что говорите.

— Я и говорю, что думаю. А это не нравится. Лучше вы подумайте о том, что я сказал. Почему вы начали заниматься археологией? Потому, что хотели копнуть поглубже и найти нечто сенсационное. Не так ли? Но вы тогда были ребенком, кладоискателем, так сказать, романтиком. А потом взрослые дяди и тети, которым не повезло и которые за всю жизнь не откопали ни одной завалященькой гробницы Тутанхамона, объяснили вам, что археология — это тяжелый труд, а не погоня за сенсациями. А разве это так уж несомненно? А вдруг археология — это именно погоня за сенсациями, вдруг это ее существо? Главные находки — это такие, которые помогают человеку познать самого себя. Разве не так? А разве это не сенсация? А потом вы подросли, и обезьяний инстинкт подражания заставил вас отказаться от самого себя. Археология — тяжелый труд! А зачем этот труд, если

он не приводит к сенсациям, то есть к находкам, потрясающим наши чувства тем, что у человека открываются глаза на самого себя?

— И еще разговариваете вы чересчур много, — сказал я.

— Ладно, подписывайте обходной, — сказал он. — Вы прогоняете единственного поэта из вашей лавки старьевщиков.

Его уволили. Он всегда был мастером нелепых сенсаций. Может быть, самая нелепая из них та, что мы уволили его, а сами готовим экспедицию по его материалам.

Пусть это будет последняя сенсация, хватит с нас. Археология — это наука, которая нужна для того, чтобы... А для чего, собственно?

ВОТ ЕГО ЛОГИКА

Это был странный парень. На лице его вечно блуждала неопределенная улыбка. Никто толком не мог понять, что, собственно, ему нужно в археологии и вообще, что, собственно, ему нужно от жизни.

Однажды ночью он вышел к костру экспедиции и сказал:

— Салют алейкум.

И никто не догадался тогда, что это не дешевая острота, а формула его личности — причудливая



смесь старых и новых приветствий, с которыми он обращался к окружающему миру.

В каждом человеке живут как бы два человека. Мы все это знаем. Но они в общем-то мирно уживаются друг с другом и к внешнему миру обычно повернуты одной стороной. По ней и судят о человеке. Другая притаилась и ждет удобного случая, чтобы проявиться в исключительных обстоятельствах. Тогда говорят — герой или, наоборот, подлец. А о чем это говорит? Ровно ни о чем. Просто вторая сторона личности более приспособлена или, наоборот, не приспособлена к этим исключительным обстоятельствам. И если бы эти обстоятельства были не исключительными, а повседневными, мы бы знали этого человека с другой стороны, а не с той, с какой сталкиваемся в условиях, которые принято считать нормальными. А так ли уж нормальны эти условия?

Вот я хожу на работу, которая мне приелась, и я знаю, какой я на работе. А если дать мне работу по душе — как бы я себя повел? Неизвестно. Это только считается так — дай человеку дело по душе, и все будет хорошо. На самом деле тут-то и начинается самое сложное. Один с радостью ей отдается весь, и ничего ему на свете не надо, кроме милого дела, другой увидит в ней только средство, которое поможет ему возвыситься над людьми, а третий вообще испугается свободы и душевного простора и не решится вылезти из скучной, но обжитой скорлупы и всю жизнь будет тайно ненавидеть осмелившихся, и будет радоваться неудачам смельчаков, и будет бескорыстно и бесстрашно ставить им подножки и палки в колеса.

Но, может быть, самый сложный случай — это когда человек долго ждал момента встречи со счастливым делом и, наконец, вырвался на простор и простор ослепил его. Выпусти соловья из клетки — он взлетит и упадет мертвый, сделав глоток неба. А если бы сначала полетал по комнате, все бы обошлось. Может быть.

В общем из всех наших, пожалуй, я один догадывался, что с ним происходит. Я понял, что это как раз четвертый, последний случай. И потому в нем не уживались эти два человека и все время были в борьбе. Это выражалось во всем. Вот он рассказывает дикие, смешные байки. Хохот вокруг, у глаз его веселые морщинки, а длинная морда печальна. А однажды утречком, когда только слышен стук движка вдали, а за глиняным дувалом мерно вздыхают волы и весь мир улыбается, я смотрю, он идет мне навстречу и тоже улыбается. А подошел поближе — в сощуренных глазах плещутся слезы.

Он интересовался проблемой дьявола. Удивляетесь? Да нет, конечно, не того мистического, религиозного и так далее дьявола, а вполне реального. То есть он был убежден, что на самом деле там что-то такое было. Что-то такое, что послужило толчком ко всем басням, сказкам, описаниям, бесчисленным изображениям. Конечно, как человек современный, он понимал, что дьявол — это олицетворение сил зла. Всяких сил — и природных и общественных, — в которых не под силу разобраться и которые легче всего отнести к придуманному дьяволу. Ну, это все так, конечно, но почему тогда дьявола изображают страшилищем, а бога человекоподобным? Видимо, потому, что бог — это

идеальный человек, то есть человек, приносящий окружающему миру только благо, а дьявол — это нечто вредное и потому его надо изображать и представлять себе в виде чудовищно безобразного существа. Но если это так, если за понятием «бог» стоит представление об идеальном человеке, то есть существе реальном, то следует допустить существование и чего-то чудовищно реального, что пакостило и вредило и чему были приписаны все человеческие несчастья. Вот его логика.

ОН РАБОТАЛ НАУЧНЫМ СОТРУДНИКОМ

Недаром его погнали из экспедиции, когда он, проработав месяц бесплатно и только кормясь у общего костра, высказал эту бредовую идею. Его погнали, собственно, только потому, что идея эта, будучи раз высказана, приобрела странную притягательную силу. Наступила какая-то дьявольщина. Мои серьезные современные ребята, которым даже Хемингуэй начинает казаться устаревшим, вдруг стали интересоваться не столько раскопками курганов, сколько древней книжной чепухой, пытаясь найти какие-нибудь признаки того, что послужило реальной первоосновой для создания нелепого и страшного образа. В разговорах за зеленым чаем и разогретой тушенкой замелькали имена Сведенборга, Якова Беме. Когда сначала в шутку,

а потом с каким-то нервным смехом упоминались дивьи люди, саламандры, василиски и драконы, я еще терпел. Кто не любит сказок? Археологу фантазия нужна не меньше, чем математику. Фантазия — это гигиена мозга, кроме всего прочего. Пускай балуются, думал я, пускай отдыхают от логики. Но когда это стало переходить всякие границы, когда Валя Медведева, спокойная девушка, вдруг заявила, что следовало бы связать понятие «дьявол» с сохранившимися, может быть, экземплярами допотопных животных, когда Паша Биденко возразил ей, что дьяволу приписывается глубокое знание человеческой натуры и поэтому прототипом для дьявола могло бы служить существо только разумное, я понял, что пора кончать.

— Знаете что, дорогой мой, — сказал я ему. — Оставьте нас всех в покое и идите своей дорогой.

Он и ушел своей дорогой так же, как и пришел. Усмехнулся и ушел от костра, оставив после себя легкое ошаление и непонятную тоску.

Раскопки продолжались успешно. Были найдены следы высокой материальной культуры. Мы набрели на рыночную площадь, на древние торговые ряды, на оружие. Много ящиков с предметами материальной культуры, пронумерованных и обернутых в папиросную бумагу, вывезли наши вездеходы, и с наступлением холодов экспедиция свернула работу в поле и вернулась в Москву систематизировать и описывать найденное.

И в Институте археологии при Академии наук мы встретили его. Он работал научным сотрудником.

ЭТО ДЕМАГОГИЯ!

Как ему удалось обольстить начальство, никто не знал, но факт остается фактом — этот человек, не имевший ни научных званий, ни опубликованных работ, ни хотя бы серьезной подготовки, к моменту нашего возвращения работал научным сотрудником в институте. За какие такие заслуги его к нам назначили, было непонятно. А потому стало подозрительно. Поползли слухи. Мнения разделились. Слухи пошли самые невероятные. Одни считали его тайным сектантом, другие — работником ОБХСС, приехавшим с ревизией. А Ноздрев, приятель Собакевича, даже пустил слух, что он Наполеон. И только я один знал нелепую правду.

Начальник отдела кадров, которого никто не видел смеющимся, хотя он всегда вежливо улыбался, однажды сказал мне, погибая от тихого хохота и утирая слезы:

— Клоун.

— Кто?

— Коверный клоун. Последнее место его работы — цирк.

— Да вы смеетесь, — сказал я.

— Как же не смеяться? Посмотрите, какое фото он принес в личное дело.

Обычное фото 4,5 на 6, а на нем размалеванная маска. Я задохнулся.

— Да вы успокойтесь, Владимир Андреевич, — сказал начальник отдела кадров. — Он потом настоящее фото принес. Это я оставил себе на память.

— При чем тут фото?! Сейчас иду к директору. Из науки устраиваете какой-то цирк.

— Вот именно, что цирк, Владимир Андреевич. Только ничего у вас не выйдет. Личное распоряжение директора.

Что-то он еще говорил, да я не слушал.

Вот мой разговор с директором:

— Знаю, Владимир Андреевич. Знаю. Выпейте воды...

— Спасибо.

— Скажите, Владимир Андреевич, может, по-вашему, ну, например, депутат Совета быть клоуном?

— Не знаю. По-моему, нелепо.

— Браво. У нас с вами одинаковые взгляды. Это меня удручает.

— Вот как?

— Я точь-в-точь так же ответил на его вопрос. Текстуально. А он сказал: «Если клоун делает искусство — может, а халтурщиков надо гнать, даже если они археологи. Спрашивается, может ли клоун быть ученым?» У вас есть возражения, Владимир Андреевич?

— Есть. Это демагогия.

— Тогда прочитайте вот это. Присядьте. Здесь всего шестнадцать страничек.

СЕКРЕТЫ

Это была статья, где обыденным, ненаучным языком сообщалось примерно следующее.

Среди итальянских мастеров, принимавших участие в постройке Московского Кремля, самым заметным был Аристотель Фиоравенти. Поэтому сложилось мнение, что он и был главной фигурой. Между тем оказывается, что проектировал основные сооружения Кремля — башни, стены — один полузабытый человек.

В Европе только две такие крепости — в Москве и Милане. В то время они были похожи, как близнецы. Потому что островерхие шатры на московских башнях были надстроены значительно позднее. Фамилия этого человека написана с внутренней стороны Спасской башни. «Пьетро Антонио Солари, миланец».

Все это в общем-то известно. Просто, может быть, никто подряд не перечислял объекты, выстроенные Пьетро Антонио, и потому как-то не осознавалось, что основным проектировщиком Кремля был Пьетро Антонио. Ну что ж. Можно принять это сообщение и по-другому расставить акценты в справочниках. Но дальше начиналось занятное. Он доказывал, что Пьетро Антонио Солари происходил из миланских Солари, у которых все члены семьи были связаны с искусством, инженерией и так далее.

Если учесть, что все мастера Милана так или ина-

че встречались на работах для двора Лодовико Моро, дяди немощного герцога Джан Галеаццо Сфорца, если учесть, что все Солари по каким-то причинам покинули Милан около 1490 года, то есть в год приезда Пьетро Антонио в Москву, если учесть, что Христофор Солари был учеником Леонардо да Винчи (сейчас это официально признано), если учесть, что Леонардо да Винчи как раз в это время строил Миланский кремль, то становится понятным, почему русские послы для такого важного дела пригласили никому не известного юношу Пьетро Антонио Солари, а не поручили строить Кремль европейской знаменитости Фиоравенти, прозванному Аристотелем. А забывчивость официальной истории по отношению к Пьетро Антонио объяснима: кому охота признаваться, что Кремль Москвы, третьего Рима, строил второстепенный инженер? Поэтому — да здравствует Аристотель Фиоравенти!

А ведь получилось, что в лице Солари пригласили самого Леонардо да Винчи, одного из самых загадочных людей в истории. Например, известно ли вам, что первая карта Америки с первой надписью «Америка», где Америка впервые изображалась как особый материк, окруженный океаном, была найдена в бумагах Леонардо? «Ну и что?» — скажете вы. А то, что она была сделана до Магеллана, который первым увидел, что Америка — это отдельный материк, а не обратная сторона Индии, как думали и Колумб и Америго Веспуччи.

Я не заметил, как сам увлекся доводами этого клоуна. Нет, клоунством здесь не пахло. Да и что такое клоун? Почему человек решает посвятить себя тому

делу, цель которого — постоянно вызывать смех над самим собой?

Об этом стоило подумать.

Строитель Московского Кремля — ученик Леонардо да Винчи. Это хорошо, это отлично, это меняет многие представления о Европе и о связях России с Италией. Но почему именно ученик? Мало ли в Милане жило мастеров в то время, как Леонардо строил кремль? Да и Леонардо не один его строил. Нужно хоть какое-нибудь прямое доказательство. Представьте себе — оно было.

Если вы пройдете у стены, которая тянется вдоль Москвы-реки, то на самом верху ее вы обнаружите странные отверстия. Странные они потому, что они не в зубцах, как обычно, а между зубцами, ниже их подножия. Зубцы — это не украшения: за ними стояли воины, а в отверстия они лили кипяток и смолу. А тут отверстия находятся между зубцами, в кирпичном барьерчике, за которым даже лежать нельзя — такой он низенький. Бессмысленных отверстий в крепостной стене быть не может.

Так вот, в рисунках Леонардо он обнаружил такую машину. Сквозь отверстия между зубцами просунуты шесты, снаружи они связаны между собой окованными бревнами, а с внутренней стороны они упираются в систему рычагов. Когда осаждающие лезли на стены по лестницам, защитники нажимали на рычаги, и наружные бревна, горизонтально лежавшие вдоль всей стены, опрокидывали лестницы.

Вот для чего отверстия между зубцами. Для того, чтобы применить в Московском Кремле леонардовские секреты.

СОДА-СОЛНЦЕ

Вот так.

Что мы знаем о прошлом, если мы так ничтожно мало знаем о настоящем? А мы еще хотим предсказывать будущее. Копим факты, заворачиваем в папиросные бумажки, кладем на полочки и никак не уловим их внутренней связи. Наваждение какое-то. Где появляется этот человек, там теряется устойчивость, начинается клоунада или дьявольщина. Зачем вообще клоун? Зачем это вечно отмирающая и вечно возрождающаяся профессия?

Его звали Сода-солнце.

Американские летчики, участники челночного полета, которые отбомбились над Берлином и теперь пили у стойки на нашей базе, встретили его невнятным веселым лаем. Он прикрыл их от «мессершмиттов», когда они подходили к базе. Он один спустил в море двух «мессеров», третий задымил к горизонту.

— Сода-виски, — предложили они ему.

— Сода-солнце, — сказал он и стал губами ловить капли грибного дождя, залетавшие в открытую фрамугу.

Американцам перевели — сода-солнце, — они опять засмеялись и напились на радостях. Его стали звать Сода-солнце. Все светлело на базе, когда он появлялся. Худощавый, с близко посаженными карими глазами, удачливый в начинаниях и ласковый с девушками.

Девчата из БАО -- батальона аэродромного обслуживания — стонали, когда слышали его свист. А насвистывал он всегда одну песенку:

Подкатилися дни золотые
Воровской безоглядной любви.
Ой вы, кони мои вороные,
Черны вороны, кони мои.

А романов у него вовсе не было, и кто его «безоглядная любовь», никто не знал, и вина он не пил, только хватал губами капли дождя, когда возвращался с полета без единой пробоины. И уходил он от «мессеров» всегда в сторону солнца. Блеснет крылышками и растворится в слепящем диске.

Устелю свои сани коврами,
В гривы черные ленты вплету,
Пролечу, прозвеню бубенцами
И тебя подхвачу на лету.

Так он последний раз и ушел к солнечному диску. Блеснул крылышками и растворился в слепящем блеске. Никто его с тех пор не видел. Пропал.

Американцы-челноки прилетели опять и пошли к стойке, распахнув канадские куртки.

— Сода-солнце! — кричали они, отыскивая его глазами.

— Сода-виски, — сказала им новая буфетчица.

Они опять напились, но плохо, угрюмо напились. А штурман-мальчик все плакал и кричал: «Сода-солнце!» — и все оглядывался по сторонам.

Мы ушли от проклятой погони.
Перестань, моя крошка, рыдать.

Нас не выдали черные кони,
Вороных никому не догнать.

Когда он вышел к ночному костру нашей экспедиции, я его сразу узнал по свисту. Он свистел песенку о безоглядной любви и о вороных конях. Я его сразу узнал, хотя он располнел и лицо его плясало от сменявшихся ежеминутно выражений. Клоунада. Теперь его приняли в институт археологии из-за работы о Леонардо, а он оказался клоуном. Дьявольщина. Он проходил испытательный срок.

Я ни разу не подал виду, что знаю его. Зачем? Он же не узнал во мне скромного «технаря», который помогал заносить хвост его серебряной птички, а теперь стал доктором наук и его начальником. Старый я, и горько мне видеть клоунаду жизни. Когда я его вижу, я все вспоминаю, как его звали Сода-солнце и как он ловил капли яркими губами. Бедные маленькие капельки — их тысячи. Сейчас ночь, дождь идет. Навзничь падают капельки — и нет их. А ведь каждая капелька — это чье-то море. И кто-то яркий, с четкими глазами гребет к другому берегу. Потому что все моря внутренние. Только океан омывает материки. И я решил — ладно, пусть он ищет своего дьявола. К дьяволу все сомнения. Помогу ему во всем, в чем он только захочет. Во имя «Сода-солнце» — лучшего напитка на земле, во имя клоунады жизни, во имя безоглядной любви и вороных коней. Ничего не изменилось. Я технарь, а он Сода-солнце, только израненный, и я помогу ему расправить серебряные крылья.

А болтунам и их патриарху Ноздреву я заткну глотки. Я свирепею редко. Но лучше меня не трогать.

— Какая вам требуется помощь?

Он задумался.

— ...Ласка, — сказал он.

— Что?

— Я хорошо работаю, — сказал он, — когда меня любят.

— ...Сода-солнце... — сказал я, не удержался.

Он вскинул на меня ресницы узко поставленных глаз.

— ...Я вас сразу узнал, — сказал он тихо. — Потому и вышел к костру. Там. На Херсонщине...

Я вцепился рукой в подлокотник кресла.

— У меня была старая работа о Леонардо, — сказал он. — Когда я вас увидел у костра, я подумал: а почему бы мне не стать археологом?

— Дьявольщина... — сказал я. — Или цирк.

И проглотил комок.

Он тычком задавил сигарету.

— Не надо, — сказал он.

Он потрепал меня по руке и вышел.

В окно кабинета било солнце. Я выпил прохладной водички из графина.

Сода-солнце...

●

ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК БЫЛ МАЛЬЧИКОМ

И вот теперь я подписал ему обходной листок, и он увольнялся из института. Я его теряю. На этот раз навсегда.

Я пошел к директору.

— Нет-нет, не просите, Владимир Андреевич, — сказал он, — хватит с меня этого наваждения.

— Но ведь экспедиция все равно состоится.

— Без него, — сказал директор.

— Разве он мало сделал?

— Сделал достаточно, — сказал директор. — Вполне. Вокруг нашего института стоит несусветный галдеж. Сенсация. Попы закопошились. Недоставало еще, чтобы мы добывали доводы в пользу религии.

— Как раз наоборот. Если будет доказано существование некоего реального существа, то это конец важнейшей половины любой из религий. Какой же это дьявол — с анатомией, с телесностью, с обменом веществ? А какая же религия без дьявола?

— Ну, хорошо, а зачем ему понадобился этот словутный певец Митуса, так называемый автор «Слова о полку Игореве»? Ведь он на нас обрушил всех профессоров-славистов. Они ведь слышать не могут о Митусе. И ради чего? Ради озорства. Разве он доказал авторство Митусы?

Авторство он действительно не доказал, но кое-какие доводы разбил. Они говорили, что слово «словутый» обычное слово — славный, прославленный. А он доказал, что все имена, которые кончаются на «слав»: Изяслав, Брячислав, Ярослав, Мстислав и прочие, — все специфически княжеские. Некняжеские имена — все Добрыни и Путяты. И выходит, что «словутый» — это уже не просто прославленный, а скорее — царственный. А какая разница — славный или царственный? Дело в том, что Митусу вообще за поэта не считают. Утверждают, что даже слово «Митуса» —

это не имя, а отглагольное существительное от глагола «митусить» — то есть петь, приплясывать — и вовсе не имя, а прозвище шута. А слово «царственный» не очень-то годится для шута. Что же касается слова «Митуса», то он перерыл все источники и нигде не обнаружил второй раз этого слова, этого «отглагольного существительного», хотя глагол «митусить» встречается довольно часто. Ну, а кроме того, он обнаружил, что у вернувшихся из Канады лемков, карпатских славян, имя Митуса есть и сейчас. Это уменьшительное — Митуся, Митька, Дмитрий. И в довершение всего он нашел родословную дворян Митусовых, изданную в четырнадцатом году, а они ведут свой род от словутного певца Митусы.

— Сенсация, озорство, — сказал директор. — Несерьезно. Вносит в науку нездоровый ажиотаж. Разбрасывается. Как у каждого дилетанта, одни сенсационные идеи. А ведь хватка у него есть. Мог бы быть ученым.

— Он мог бы быть кем угодно. Он человек, — сказал я. — И, как человек, он обиделся за великого поэта, которого специалисты объявили шутом. И как человек, он доказывает, что человек может стать кем угодно. Он человек, Сергей Александрович, а мы с вами специалисты.

Зря я это сказал. Для Сергея Александровича слово «специалист» — великое слово. Прутковских шуточек на этот счет он не принимает.

— И кроме того, ведь все это побочные результаты его основной работы, — сказал я. — Он ищет местоположение злого духа, или как его там величать.

— Слушайте! О чем мы с вами говорим! Подумай-

те... Я как во сне, честное слово. Ведь сейчас двадцатый век! Я членские взносы плачу в профсоюз! По телевизору старомодный танец липси разучиваю! Ведь над нами смеются... Вы представляете себе сообщение: в Институте археологии при Академии наук ведутся работы по отысканию дьявола!.. Опомнитесь!

— Ну, как хотите, — сказал я. — Если так посмотреть, это действительно выглядит нелепо.

«Слава богу, еще не вспомнил эту историю с женщиной», — подумал я. И понял — не мог он об этом вспомнить. Потому что тогда целые сутки наш директор — ученый, специалист, пожилой человек — был мальчиком.

ЕДЕМ ИЗ-ЗА НЕГО

И вот мы едем в экспедицию без него. Я еду со спутанными чувствами. Все странно в этой странной поездке. И то, что я еду без него и на этот раз мы, видимо, расстаемся навсегда, и то, что мы едем проверять данные человека, которого мы уволили, и то, что мы едем в Тургай.

Я никогда не думал, что Тургай опять может появиться в моей жизни и опять будет играть такую большую роль. Как будто мне двадцать лет, и живы мои родители и близкие, и я новичок в науке, и как будто с той поры не прошло полвека.

Это было летом 1912 года. В Тургайской степи в то время работало несколько отрядов Отдела земельных улучшений. Эти отряды имели задачей выяснение гидрологических условий в целях обводнения будущих переселенческих участков. Один из этих отрядов, работавших под начальством горного инженера Мокеева, подобрал на реке Кара-Тургай несколько очень крупных зубов, большой позвонок и такую же копытную фалангу. И в то же лето участник другого отряда студент Горного института Горбунов несколько западнее Кара-Тургая, на реке Джиланчик, нашел богатые костями слои, в которых набрал довольно значительное количество останков древних оленей и тигров. Все они были доставлены в геологический музей Академии наук, который в ближайшее же лето 1913 года командировал того же Горбунова для дальнейших розысков и раскопок в обоих местах. Студент Горного института Горбунов — это я. Моей тайной мечтой было найти кости мамонта. Эта поездка сыграла поворотную роль в моей жизни и принесла мне абсолютно неожиданный успех.

Тургайская область занимала часть киргизских степей, населенных кочевыми киргизами. Это была волнистая равнина с разбросанными по ней солеными и пресными озерами, заросшими камышом. Я снарядил караван, нанял киргизов, чтобы вести раскопки, и отправился в путь. И вот по дороге они сообщили мне, что в другом месте, на берегу Соленого озера, есть скопления костей гораздо более крупных, чем на Джиланчике. Они это место называли Битвой гигантов.

Не надо большого воображения, чтобы представить себе, что я почувствовал, когда услышал о битве ги-

гантов. Это была та смесь испепеляющего азарта и почти суеверного отчаяния при мысли, что рассказ может не подтвердиться, которая открывает человеку глаза на свои истинные желания, на самого себя, на свое призвание, которую мы зовем прозрением. Забыты были и Горный институт, и распоряжение начальства, и само начальство.

Я немедленно повернул экспедицию в сторону Соленого озера. А ведь я считался спокойным человеком, выше всего ставил невозмутимость и занимался гимнастикой по системе Мюллера и лаун-теннисом. Это было, конечно, большим проступком, но я не мог устоять перед желанием подобрать кости мамонтов.

Я подобрал их. Я вернулся. Меня постигло жестокое разочарование.

Меня посылали для сбора неизвестной фауны, а я вместо нее привез давно и хорошо всем известного мамонта. Пришли ящики. И хотя мамонт не представлял особого интереса, все же раскрыли один из самых длинных ящиков, сняли крышку, и с первых же шагов обнаружились такие признаки кости, которые позволили с уверенностью сказать, что это не мамонт. Что же это? Это было какое-то совершенно новое, неизвестное гигантское животное. Разочарование сменилось острым интересом, который удесятерил внимание и осторожность препараторов.

Высящийся ныне в Историческом музее колоссальный скелет индрикатерия — 5 метров высоты — навсегда останется для меня памятником первого успеха.

И вот теперь мы едем в экспедицию без этого клоуна, несмотря на то, что едем из-за него.

БЕЗ ТАБЛЕТОК

Его выгнали прежде всего потому, что от него все устали.

Началось с того, что я спросил:

— А почему вы, собственно, заинтересовались Митусой и Леонардо?

Это было неосторожно.

— Митусой я заинтересовался потому, что я не знаю иностранных языков, — сказал он.

— При чем тут иностранные языки?

— Начало нашего тысячелетия ознаменовано необычайными поэмами, — сказал он. — В Германии — «Песнь о Нибелунгах», в Испании — «Романсеро о Сиде Кампеадоре», в Англии — «Баллады о Робин Гуде», во Франции — «Песнь о Роланде», в России — «Слово о полку Игореве». Славянский мне было изучить легче, чем другие языки.

— Ну и что?

— Такое впечатление, что все силы творчества в начале тысячелетия ушли в поэзию. Причем безымянную.

— Допустим. Ну и что из этого?

— А то, что эпоха Возрождения, середина тысячелетия, должна была оказаться сильной в творчестве с рационалистическим оттенком. Так оно и было. Литература философствовала, драма стала публицистичной, изобразительные искусства смыкались с наукой.

— Ну, это известно. А что дальше?

— А то, что если взять человечество как общество, а не сумму людей как организм, то первые два этапа уж очень похожи на первые два этапа теории отражения, то есть на живое восприятие и на абстрактное мышление, и следующий конец тысячелетия должен ознаменоваться практикой в области творчества. А что это значит?

— Вот именно, что это значит? — сказал я. — Загибщик вы. Творчество и есть практика. Какая еще может быть «практика в области творчества»? И в начале тысячелетия творили, и в середине, и сейчас творят.

— А что сейчас творят? — спросил он. — Где уникальные произведения культуры, где великие творения, где синтез? Все анализ, исследования, открытия, теории, долбежка частиц, разброд, развал, поиски истины. Разбирают вселенную, как часики, потом собирают обратно — остаются лишние детали. Разве это творчество?

— Истину всегда искали — и нравственную и научную.

— Факт. Но для чего? Почему так много исследований и открытий и так мало изобретений?

— Это сейчас-то мало! Да их полно. Только и слышишь...

— Вот именно—слышишь! А их должно быть столько, чтобы о них не было слышно. Вы же не слышите о том, что выпустили еще пару туфель или автомобиль. О них не сообщают, их делают. Нет, наше время не любит изобретений. Оно любит исследования. Кому трудней всего? Изобретателю. А исследователю? Все институты научно-исследовательские. Разве



не так? А почему? Исследование — это значит исследование того, что природа изобрела. А изобретение — это человеческое создание, продукт творчества, синтез.

— Без исследований не будет изобретений.

— Правильно. А без изобретений вообще ничего не будет. Жизни не будет. Человек от обезьяны отличается не исследованием дубины, а изобретением дубины. А сейчас изобретателя, по сути дела, боятся. Потому что он дезорганизует производство. А уже давно пора производить не просто предметы, а изобретения. Производство должно производить изсбретения. Тогда никакой дезорганизации не будет. Будут планировать изобретения — и все.

— А где их напасешься? Изобретение — это не туфли, не автомобиль, — сказал я.

— Вот именно. А почему? Потому что никто не знает, что такое творчество, с чем его едят и как его вызывать, — сказал он и добавил как-то нехотя: — А вот Леонардо знал.

— А откуда вам это известно?

— По результатам. Один список его изобретений занимает десятки страниц. Не прочтешь. Устанешь, — сказал он устало.

— Леонардо — гений, — торжествующе сказал я.

— Гений! — почти крикнул он. — А не кажется ли вам, что у него способ мышления был другой, не такой, как у нас? Не кажется ли вам, что гений — это тот, кто нащупал другой способ мышления? А остальные так... Логикой орудуют.

— Ну, знаете!

— Что «ну знаете»? Что такое логика? Инстру-

мент. А инструменты стареют. Вас же не пугает, что евклидова геометрия устарела?

— Ею пользуются.

— Правильно. Для частных задач. Для плоскости. А любая плоскость — часть шара. А на нем сумма углов треугольника никогда не равняется двум «d». Молотком тоже пользуются, но есть орудия и поновее.

— А чем вы замените логику?

— Если наш мозг может иногда делать внезапные открытия, значит он может это делать постоянно. Если Менделеев увидел свою таблицу во сне, значит именно в тот момент ему легко было сделать это, значит его мозг правильно думал.

— Какая чушь! — Я рассвирепел окончательно. — Прежде чем ему приснилась таблица, он годами мучился, обдумывая ее!

— Правильно. Мучился. Ну и что хорошего? Это значит, все эти годы он неверно думал, логически перебирал варианты, линейно думал. А потом линий накопилось столько, что они, наконец, слились в один комок, вот и все.

— Другого способа нет.

— А вдруг есть?

— У вас, что ли?

— Вот Шопен говорил: «Я сажусь за рояль и начинаю брать аккорды, пока не нащупываю голубую ноту». Что это означает? Это означает, что весь его организм откликнулся именно на это созвучие и именно в этот момент. Он идет за ним, и получается шедевр, изобретение.

— Н-да... И как же вы предлагаете их планировать, изобретения?

— Да надо планировать не изобретения, а людей, которые способны изобретать. Ведь даже сейчас мы же не планируем продукцию, мы планируем выпуск продукции. А продукция уж есть следствие, плод выпуска.

— А как планировать изобретателей, как узнать, кто может изобретать?

— Все, — сказал он.

— И вы?

— И я.

— Поэтому вы стали клоуном?

— Отчасти, — скромно сказал он. — Когда я рискнул позвонить профессору Глаголеву и сказал, что у меня есть интересные данные о том, что Митуса автор «Слова о полку Игореве», он бросил трубку. Я опять позвонил и спросил: «А если я нашел рукопись с его подписью, вы все равно не поверите?» Он засмеялся и сказал: «Клоунада». И опять бросил трубку. Я подумал: «А почему бы и нет? Почему бы мне не начать смеяться над чванством? Да здравствует клоунада!» Понимаете, настоящая клоунада — это не тогда, когда публика смеется над клоуном, а когда клоун смеется над публикой.

И он искоса посмотрел на меня.

Я почувствовал, что краснею, и сказал:

— Вы что же, нашли такой способ мышления?.. Универсальный?

Это была вторая неосторожность.

— Нашел, — сказал он. — Универсальный.

Пора было его проучить.

— Отлично, — сказал я. — Вы нам его продемонстрируете.

— А зачем его демонстрировать? — сказал он. — Принесу завтра таблетки — и все.

— Какие таблетки?

— Вы их примете и сами начнете мыслить творчески.

Он не смеялся, мерзавец.

— Отлично, — сказал я. — Покушаем ваши таблетки.

Он кивнул и ушел. А я покамест выпил водички. Без таблеток.

•

МУКА И САХАР

Дальше начался цирк.

Он действительно принес назавтра какие-то самодельные таблетки. Шесть штук.

— Больше нет, — сказал он. — Самому нужно.

Гогочущие молокососы, которые были в курсе всего, окружили его и тянули свои лапы. Шесть человек расхватали добычу.

— Отравитесь! — кричали им остальные.

— Не отравитесь, — сказал он.

Приняли таблетки. Запили водой из графина.

— Ну, ребята, не подкачайте, — сказал он.

— Рабочий день уже начался, — сказал я противным голосом.

Процессия двинулась по коридору, неприлично хихикая. Впереди шли шестеро отравленных. Я был противен сам себе то ли оттого, что хотел взять таблетки, то ли оттого, что постеснялся это сделать.

Ночь я спал плохо. Сосал свои таблетки творчества. Валидол.

Наутро на работе ничего не произошло. Только он не обращал внимания на ухмылки, все ходил от одного к другому из этой шестерки и интересовался, как у них идут дела, и отрывал их от работы, а ведь каждый из них бился над своей проблемой. Но я не мешал ему. Злорадство давно прошло. Мне было просто жаль его. Я опять вспомнил, кем он был и кем он стал и как ему трудно найти свое место в жизни без своих серебряных крылышек. Бедный Сода-солнце.

Наутро пять проблем из шести были решены. С блеском. Проблему не решил только один, самый способный и результативный исследователь Паша Биденко. Институт притих. Пять человек ходили с вытаращенными глазами, с лихорадочными пятнами на щеках. Валя Медведева плакала в углу моего кабинета.

— От счастья, — сказала она мне. — И от горя. Я, кажется, его люблю...

Вокруг него образовался испуганный вакуум.

Кое-как дотянули до конца рабочего дня.

Ночью мне снилось, что я летаю, пикирую на захоронения минусинской культуры, выхватываю из могильников глиняные горшки с таблетками творчества и улетаю в сторону солнца.

На следующий день я собрался идти к директору докладывать.

В коридоре меня встретил Паша Биденко. Глаза у него слипались.

— Му́ка, — сказал он сонным голосом.

— Что?

— Мука и сахар, — сказал он. — И больше ничего в них нет. В этих таблетках. Ни фига. Всю ночь делал анализы.

ЭТО БЫЛО ТОЛЬКО НАЧАЛО

Уже после всего, уже после того, как мы допросили его с пристрастием и приняли все меры, чтобы скандал не принял неприличных размеров и институт наш не стал посмешищем в научных кругах, уже после того, как мне удалось отстоять мое предложение: единственный выход из ситуации — не прогонять его, а отправить в экспедицию, — я спросил его тихонько перед отъездом, когда он влез в кузов грузовика со спальными мешками:

— Зачем вы это сделали?

Он перегнулся через борт.

— Чтобы ученая братия не задавалась.

— Ну, хорошо, а почему все-таки пять человек добились такой удачи в работе?

— По двум причинам, — сказал он. — О первой вы догадываетесь. У них растормозилось воображение,

и они стали мыслить свободнее и потому самостоятельней.

— А вторая причина?

— А вторая причина та, что я сам незаметно подсказал им решение их проблем.

Грузовик завонял синим дымом и пошел с институтского двора. Вот и все.

Нет, это было не все. Оказалось, что это было только начало. Продолжение пришло из экспедиции.

Достаточно было ему уехать, как я сразу вспомнил опять, что его зовут Сода-солнце. Я всегда об этом вспоминал, когда его не видел. Мелочными показались мне и раздражение мое и наше бессмысленное удивление его прежней профессией. Да мало ли у него было профессий! Разве профессия определяет человека? Человека определяет то, что он дает этой профессии. У человечества тысячи нужд, и на каждую нужду — по профессии. Важно, что̀ человек дает человечеству при помощи своей профессии, вот что важно. Пришел способный человек с идеями, а мы разинули рты — клоун. Может, нам клоуна-то и недоставало. Мы всегда боимся оказаться смешными, а это быстро раскусывают подлецы и навязывают нам — похвалами, лестью — свою этику. Мы костенеем в чванстве, тут-то нас и облапошивают. Клоун — это же хирург в области этики. Клоун — это поэт смеха. Острое словцо протыкает чванство, как игла водянку. Но это я сейчас такой умный.

Это я сейчас такой умный, а тогда перед его отъездом в экспедицию у меня было одно чувство — раздражение. Он удивительно умел раздражать людей, этот клоун. Клоун проклятый! Ведь я же ему друг,

и он знает это. Зачем же ему высмеивать меня, дразнить? Ладно, не будем мелочны. Помогать так помогать. Короче говоря, я устроил его в экспедицию. О многом я передумал, когда он уехал в экспедицию, в которую я бы поехал и сам, да уже силы не те. Я послал его туда, откуда началось и мое движение. Хватит ему заниматься сопоставлениями на бумаге. Пусть начнет с самого начала. Пусть поедет в Тургай. Он и поехал. А получился из этого один конфуз.

Сначала от экспедиции не было ни слуху ни духу, а ведь связь в наши дни не та, что в 1913 году. А потом пришло это нелепое письмо.

Я уж не говорю о том, что все оно было наполнено кучей самых разнородных идей, не имеющих никакого отношения к его прямому делу, к археологии, и касающихся самых различных областей, — верный признак дилетантизма. Это меня не удивило — знал, с кем связывался. Нелепым оно было потому, что в конце его была слезная мольба, похожая на издевательство. Он просил установить радиоактивным методом возраст того самого индрикатерия, которого я привез в 1913 году. И прислать ему ответ.

●

— ЧТО-О?.. — СПРОСИЛ Я

Придется пояснить тем, кто не знаком с сущностью этого метода.

Археология имеет теперь надежный способ дати-

ровки — атомный календарь. Мы берем какую-нибудь кость из древнего захоронения и сжигаем в специальной печке. Выделяющийся при этом углекислый газ улавливается в пробирки, подвергается ряду химических реакций, и затем счетчик Гейгера определяет возраст кости. Радиоактивная углеродная датировка возможна потому, что все организмы поглощают углерод-14 — радиоактивный изотоп обычного углерода. После гибели животного или растения углерод-14 медленно разлагается. Сравнивая количество радиоактивного углерода, оставшегося в кости, с количеством обычного углерода в атмосфере, которое почти не меняется, ученые довольно точно определяют возраст того или иного объекта. Это все так. Но «атомный календарь» действует в мертвых организмах до 40 тысяч лет, а индрикатерии вымерли миллионы лет тому назад. Поэтому весь отдел хохотал над этим письмом.

— Ненавижу, — сказала Валя Медведева.

— Паша, — сказал я Биденко, — он напрашивается на ликбез. Не могли бы вы проучить его и на этот раз?

— Запросто, — сказал Паша. — Если вы мне достанете кусочек кости от вашего индрикатерия.

— Ладно, — сказал я. — Пошлем ему официальный ответ. На бланке института. С печатью.

Дело было несложное. Я созвонился с музеем и пришел посмотреть на свое дорогое чудище. Пятиметровый красавец стоял целенький, и внизу на табличке упоминалась моя фамилия. Я только вздохнул.

Пока я предавался воспоминаниям, сотрудники принесли небольшой осколок кости. Я забыл сказать, что в свое время я привез один полный скелет и еще

несколько разрозненных костей — все они были перемешаны в одном оползне и, следовательно, были одного возраста. Я поблагодарил сотрудников музея и отдал этот осколок Паше Биденко. А сам сел писать этому клоуну разгромное письмо, где я излил все накопившееся раздражение и где я объяснял ему, кто он есть, что о нем думаем все мы и как надо относиться к науке, если уж его прибило к этому берегу. Но потом я увидел как наяву его длинную ухмыляющуюся физиономию и понял, что большое письмо — это большие насмешки, а маленькое письмо — это маленькие насмешки, зачем мне это? Я порвал письмо и написал коротко на бланке института: «В костях индрикатерия радиоуглерода почему-то не обнаружено». Я подчеркнул слово «почему-то», поставил печать в канцелярии и подписался: «Доктор исторических наук В. А. Горбунов».

Потом мне позвонил домой Паша Биденко и сказал, что согласно анализу возраст кости всего 5 тысяч лет.

— Что-о?.. — спросил я.

●

ВСЕ ОЧЕНЬ ГРУСТНО

Почему так приедается все в жизни? Наверно, потому, что все, с чем сталкиваешься, только похоже на то, чем оно должно быть, и ты знаешь, что это еще не

первый сорт и где-то есть то же самое, но лучше. Меняются моды. Вчерашняя одежда кажется некрасивой, вчерашняя красота вызывает скуку, вчерашняя мысль — ее не замечаешь, вчерашняя радость вызывает ощущение неловкости (чего радовался, дурак), вчерашняя радость — это вчерашняя наивность, а сегодня я поумнел и на зубах оскомина. Ищем спасения в бесконечном поиске, но бесконечный поиск — это бесконечный голод. Конечно, приятно представить впереди необыкновенное блюдо с постоянной притягательностью, но не напоминает ли это клок сена, привязанный перед носом осла? Бесконечная дорога, бесконечный голод и клок сена, который удаляется с той же скоростью, с которой приближается к нему бедный, бесконечно милый осел. Почему мы должны ожидать от будущего решения сегодняшних проблем? Ведь у будущего будут свои проблемы, только в нем не будет нас.

Но, может быть, деятельность, стремления, движение — ошибка? Может быть, надо уставиться в собственный пупок и самодовлеть? А может быть, давайте бесконечно пожирать друг друга, чтобы чувствовать силу, чтобы радоваться власти не только над природой, но и над человеком? Но ведь, сожрав всех (а такие попытки делались), останешься один, завоешь в тоске и страхе и убежишь в смерть, в ампулу, которая припасена в бомбоубежище.

Давайте вспомним. Пускай наше тело вспомнит. Что никогда не надоедало, не приедалось от повторения, чего ждешь и на что безошибочно откликаешься? Переберешь в памяти все и вспомнишь ощущение руки, которая коснулась чужого тела, — вдруг вспом-

нишь, поймешь: это оно, это ощущение, имя ему — нежность. Все оттенки этого ощущения, этого понятия: от свирепой нежности воина, который, опустив меч, взял на руки ребенка врага, и девочка прижалась к его закаменевшей щеке, а он смотрит вдаль и говорит: «Не тронь!» — до тающей гибкой нежности возлюбленной.

Только нежность однозначна, только нежность не терпит иносказаний, маски, обмана, только нежность — она либо есть, либо нет ее. Мы только чересчур редко ее ощущаем, и она играет в нашей жизни незаметную роль. Но, может быть, главную. Когда на земле хрипели ящеры, то вряд ли даже рептилия-философ придавала значение попадавшейся иногда и ускользавшей в норы странной мелочи, обладавшей собственной теплотой крови, которая не зависела от перемены погоды. Ящеры ушли, а теплокровные заполнили мир.

И еще я хочу сказать о гематоме.

— Что-о? — спросил я.

Хотя спрашивать было, собственно, не о чем. Потому что я твердо знал ответ. Я только забыл его за эти годы, за последние полвека. Вернее, не забыл, а загнал куда-то в глубь сознания, как мы загоняем куда-то воспоминания о несостоявшемся, о несбывшемся, но оно живет в нас. И нас спасает от тоски только привычка обходить мысленно это темное пятно в нашем сознании, напоминающее гематому. Гематома — это нерассосавшийся сгусток крови, кровоизлияние, которое, если его не трогать, существует себе безвредным инородным телом, а если тормошить, может воспалить живые ткани, ну и так далее. Конечно, об этом

«и так далее» даже думать не хочется, но дело в том, что даже безвредность гематомы относительна. Не может мертвое в живом быть абсолютно нейтральным. В живом все должно жить, принимать участие. Если что-то не живет, а присутствует, значит оно занимает место живого. Есть два способа избавления: один реальный — оперировать, другой, пока большей частью воображаемый, — оживить. Есть и третий — сдаться. Сами понимаете, хуже нет ничего, чем сдаться, — это плохой конец. И нет лучше ничего, чем оживить, — это хорошее начало.

Когда я спросил: «Что-о?» — то этот вопрос, возглас, вопль относился не к тому, что сказал Биденко, — а ведь он сообщил скучным голосом о том, что животное, которому полагалось исчезнуть миллионы лет назад, погибло где-то во времена фараонов! Оказывается, мое дорогое чудище жило одновременно с человеком, и тогда это уже вопрос археологии. Или это ошибка. Биденко ошибся, аппаратура ошиблась, дьявол его знает, кто ошибся, директор музея ошибся и дал не ту кость. Но самое-то главное для меня, старого хрыча (который ведь когда-то был молодым и не боялся сенсаций, а жаждал их, жаждал того потрясения чувств, при котором душа человека обретает крылья и открываются просторы, — юность считает, что так и должно быть, и ждет этого каждый день, потому и мечется и тратится нерасчетно, заглядывая за все углы — не там ли притаился его величество случай; конечно, старость, умудренная синяками, идет верней и безошибочней, но мелочней и ради самосохранения, ради сбережения оставшихся сил утешает себя тем, что зелен виноград, и не ест его, но на душе

все равно оскомина; но кто осторожничал всю жизнь и не тратился, тот облапошил свою юность и ничего не приобрел к старости, кроме опостылевшего комфорта и страха перед неожиданностями), самое главное для меня, старого хрыча, было в том, что если в юности встреча со счастливым случаем — это оправдавшееся предчувствие, то в старости это подобно потрясению от встречи с ожившим мертвецом, подобно оживлению гематомы.

Короче, все эти рассуждения о нежности и воскрешении мертвого нужны были мне для того, чтобы понять самому, почему, когда я спросил «что-о?», я вспомнил, как он месяц назад, выходя из кабинета, когда я впервые назвал его Сода-солнце, сказал «не надо» и потрепал меня по руке.

И еще я вспомнил, как 50 лет назад я догадался, что найденному мной дорогому чудищу всего несколько тысяч лет, а не миллионы, как тогда решили ученые.

Я шел по улице, и мне казалось — я мальчик, и живы близкие, которых нет давно, и все еще впереди, и я бессмертен. Дул ветер и рвал полы моего пальто, но я не замечал ветра. Шел дождь, но я не замечал дождя, и глаза у меня были сухие.

— Ну, погодите, мы еще покажем вам, старые хрычи, — бормотал я, старик, а сердце стучало. — Ну... началось.

Я еще не знал, что̀ началось, но был готов ко всему. Цирк или дьявольщина — мне было все равно. Главное, что началось! Только окончилось все очень грустно.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЧЕРЕП

Я никогда не забуду тех дней, счастливых и тайно стремительных.

Сначала никто не поверил анализу Паши Биденко и прежде всего он сам.

— Чушь, — сказал директор.

Проверили. Данные подтвердились. Сенсация? Нет, конечно. В музее могли перепутать кость. Провели совещание совместно с музеем. Вынесли решение взять кусочек подлинной кости моего чудища в том месте, которое уже было слегка реставрировано. Осторожно выпилили участок кости, на этом месте сделали вкладыш из специального цемента. Снова провели анализ... 5 тысяч лет — вот возраст индрикатерия, найденного мной в 1913 году.

Сенсация? На этот раз — да.

Но дело в том, что еще в двадцать третьем году я высказал предположение о недавнем — относительно, конечно, — происхождении найденных мною костей. Дело в том, что каким бы неопытным я ни был в те годы, но даже и мне показалось, что те животные, кости которых я раскопал, погибли какой-то странной смертью. Это не было похоже на естественную смерть. Кости самых разных животных были перемешаны и разбросаны, и все они находились в одном слое, и, следовательно, это не было результатом позднейших изменений в земной коре — вот в чем загвоздка. Это было похоже либо на битву разных животных, либо на

кладбище, а вернее на свалку. И все это месиво располагалось чрезвычайно близко к поверхности, в пластах, насчитывающих никак не более чем несколько тысяч лет, уж это-то я, студент Горной академии, мог понять. Я тогда высказал догадку о существовании этих животных, в том числе и индрикатерия, в недавнем прошлом. Меня высмеяли. Теперь догадка подтвердилась. Через полвека. Вот и все. По крайней мере анализы говорят — да. Решено отправить большую комплексную экспедицию и произвести раскопки, так сказать, на высшем уровне. Я сам еду в эту экспедицию. Мой индрикатерий — мне и кости в руки. Только мне уже ехать не хочется. Чересчур многое налипло на эту простую и честную затею. И виною опять он, клоун Сода-солнце.

Его срочно вызвали в Москву. Несколько дней после приезда он где-то болтался, потом пришел в институт. Не то триумфатором, не то подследственным — не поймешь. От него потребовали отчета, он написал толковый отчет, где объяснял, почему он попросил провести анализы, — потому что среди костей, которые он обнаружил неподалеку от моих старых раскопок, он нашел человеческий череп.

●

ПОСЛЕ ЭТОГО ЕГО УВОЛИЛИ

Он привез этот череп.

Череп был новенький и гладкий. И не какой-нибудь там череп питекантропа, хотя это тоже мало что ме-

няло, а вполне современный череп, такой же, как, скажем, у меня, а может быть, еще современней, так как у него даже все зубы были целые, чего уже давно нельзя сказать обо мне. Череп настолько новенький, что пришлось немедленно провести такой же анализ, так как первая мысль у всех была — фальшивка. Провели анализ — 5 тысяч лет. Вот так.

Все хорошо, не правда ли? Все очень плохо. В конце отчета было написано: «А еще при раскопках среди костей вымерших животных была обнаружена скульптура женщины необычайной красоты».

— Какой женщины? — спросили мы ошеломленно. — Где она?

— У меня дома, — сказал он. — Завтра принесу.

— Подождем до завтра, — сказал директор.

Я не стал ждать до завтра. У меня привычно похолодело где-то под ложечкой. Какая, к черту, женщина, о господи! Весь вечер я провисел на телефоне, пытаясь связаться с экспедицией. Ночью дали разговор.

— Это я — говорю я. — Да. Здравствуйте. Как дела?

Дальний девичий писк:

— ...Хорошо... Успешно...

Посторонний голос:

— Вы разговариваете?

— Да, разговариваю.

— Разговаривайте, разговаривайте, — дружелюбно сказал голос.

— Да разговариваю же, разговариваю! — кричу я.

— Что-нибудь случилось? — спрашивают оттуда. — Как отчет?

— Отчет неплохой, — отвечаю. — Скажите, вы что-нибудь знаете насчет этой женщины? Где он ее нашел?

— Она красавица, — пищат. — Вы ее видели? Ну, как она вам?..

— Еще не знаю. Завтра увидим.

— Вы разговариваете? — спрашивает голос.

— Это вы разговариваете! — ору я. — А нам не даете!

— Ваше время истекло, — говорит голос.

— Алле! Алле!..

Вот и вся информация.

Назавтра все собрались у меня в отделе. Народу набилось столько, что столы составили к стенке один на другой, и на самом верху у потолка между торчащих вверх ножек в позе нимфы у ручья возлежал Паша Биденко. Он ничему не верил, пускал клубы дыма и смотрел на всех свысока буквально и переносно. В центре, стиснутый высоконаучной толпой, стоял шахматный столик, принесенный из комнаты отдыха. На нем возвышался фанерный ящик, какие употребляются для посылок. Из полуоткрытой крышки торчала вата. Стояла тишина. Только слышался противный скрежет гвоздей, которые клещами вытягивал Сода-солнце.

Он снял крышку и погрузил две руки в пыльную вату.

— Подержите ящик, — сказал он.

Протянулись руки. Вцепились в ящик.

Он вытащил бурый комок ваты и поставил его на мгновенно опустевший столик. Ящик уже плыл над головами в сторону двери и с грохотом вылетел в пу-

стой коридор. Слой за слоем вата ложилась на стол и становилась все белей и белей, и вот уже она стала похожа на морскую пену, и вот уже все дышать перестали. И наверное, если бы не гул в ушах, можно было бы услышать мерный глухой стук одного большого сердца, когда остался последний, полупрозрачный, словно туман, слой ваты, даже не ваты, а тень ваты, и стали видны черты прекрасного лица с полузакрытыми глазами.

Остановилось сердце. Руки сняли последнюю вуаль. Резко очерченная верхняя губа. Пухлая нижняя. Смуглый цвет старого золотистого дерева. Рот чуть-чуть улыбался. Немного похожа на Нефертити, но в другом роде. Скорее Аэлита. Остро взглянули глаза из-под наполовину опущенных век.

Раздался грохот. Все вздрогнули, как от удара током. Ничего страшного. Это Паша Биденко свалился с потолка.

У всех были потрясенные лица. Директор тяжело сглотнул. В плотной массе людей произошло какое-то движение. Это яростно проталкивался Паша Биденко.

— ...Анализ, — прохрипел он. — Не верю...

— Запрещаю, — сказал директор и облизнул пересохшие губы.

— Нет, — сказал Сода-солнце.

Он взял клещи, быстрым движением отломил щепку у самого основания прекрасной шеи и подал ее Биденко.

— Вы серый человек... вандал, — сказал директор бедному клоуну. — Идите вон.



 М. Анчаров

— Спасибо, ребята, — сказал Сода-солнце. — На самом деле спасибо.

Он глубоко вздохнул, улыбнулся и стал протискиваться к выходу.

Директор оттеснил всех от стола. Дрожащими руками он собирал вату и укутывал прекрасное лицо. Он растопырил локти, что-то квохтал и был похож на большую курицу. Всем было понятно, что так у него выражается окрыленность. Никто никогда не видал таким нашего директора.

— Владимир Андреевич, — кудахтающим голосом сказал директор, — вызовите охрану... И чтобы ключ от сейфа... Сейф опечатаем.

Если бы ему сейчас дать волю, он бы вызвал танки. Я медлил. Он посмотрел на меня с яростью.

— И вы? — сказал директор. — Неужели и вы? Биденко простительно... Хотя не нужно быть специалистом, чтобы понять, что это такое.

— Да... Не надо быть специалистом, — сказал я.

И пошел выполнять распоряжение директора.

Утром следующего дня Биденко, виновато улыбаясь, подтвердил:

— Да... Те же самые пять тысяч лет.

Потом я позвонил этому клоуну.

— Зачем вы это сделали? — спросил я печально.

— Я пошутил, — сказал он.

— Что мы скажем директору?

— Правду, — сказал он.

А правда была такова: фотографию этой женщины я видел у него еще во время войны.

Меня только поразило, как быстро была выполнена скульптура. Ведь дерево-то было настоящее, древнее, значит, он нашел его в раскопках, значит, скульптура была сделана всего за те несколько дней после его возвращения, что он не являлся в институт. Но я знал, что его приятель Константин Якушев человек способный.

Он надул всех и прежде всего себя. Можно смеяться над чванством, но нельзя смеяться над такими чувствами. Посмотрели бы вы на директора, когда я рассказал ему все, как есть. Он все время молчал, пока я рассказывал, а потом снял пенсне. И глаза у него были совсем детские.

После этого Сода-солнце уволили.

«ПРИВЕТ СТАРЬЕВЩИКАМ!»

А потом мы поехали в экспедицию без него, пробыли там все лето, нашли много интересного, быстренько свернули работы, и так получилось, что я отослал всех обратно и на месте большого лагеря остались в пустыне только я и Паша Биденко.

После окончания работ и отъезда экспедиции, торопливого и печального, передо мной теперь уже неотвратимо встал вопрос: почему же я все-таки остался?

Все опустело, только следы палаток, холодные звезды да ветер, пронизывающий все, пронзающий душу ветер. Да еще одинокая фигура Паши Биденко, которая маячит возле нашего многострадального вездехода, да еще тоненький писк приемника — мелодия джаза дико звучит на кладбище динозавров.

И я подумал: тоненькая, еще очень тоненькая пленка отделяет нас от мира чудовищ.

Сели батарейки, замолк приемник, и опять — только пустыня и коричневая пыль. А тут еще сами себе могилу роем. Хлопочем, стараемся понять человека, а он, этот человек, придумал бомбу, и она есть, что бы мы там ни говорили, и никуда не уйдешь от этого, будь она проклята. И если человечество не поймет само себя, ему один путь — в ископаемые. И через тысячи лет придут новые существа, и будут вскрывать костеносные пласты, и по нашим коричневым скелетам будут догадываться, почему погибли эти существа, внешне так не похожие на динозавров.

Ну что ж. Если задача археологии — помочь человеку понять самого себя, то по крайней мере с одним человеком это случилось. Вернее, с двумя. Второй — это Биденко. А первый, конечно, я. Боюсь преувеличений, а то бы сказал, что мало кто из нас остался прежним после этой экспедиции. Однако, зная, как много у меня самого было причин пересмотреть кое-какие свои взгляды, я не могу свести к одной-единственной причине те изменения, которые произошли с участниками этой нелепо правдивой и потому фантастической истории. Ибо что такое фантастика, как не правда, доведенная до абсурда.

Экспедицию можно было считать удавшейся. Най-

дено было много, и найдено было стоящее. И ни по каким законам, ни по каким нормативам нельзя было считать ее неудачной. Почему же тогда то иссушающее разочарование, которое ощущалось всеми участниками — от подсобных рабочих, впервые видевших чудовищные кости, до сдержанных квалифицированных исследователей, у которых презрение к дешевке и шумихе было признаком не только хорошего тона, но и глубоко осознанным принципом. Может быть, виною тому было то, что народ все подобрался талантливый, а талант в науке чрезвычайно трудно отделить от азарта. Может быть, всему виною был ветер.

Ветер был изнуряющий. Почти сразу, как мы приехали, начались песчаные бури. Следуя наметкам предыдущей партии, мы нашли новые костеносные пласты, три так называемые «линзы» с костями динозавров хорошей сохранности, ржавые от пропитывавших их окислов железа. И хотя улов был богатый, правда, не совсем тот, о котором втайне мечтал каждый участник экспедиции, я даже подумывал о прекращении работ. Все из-за ветра. Но потом мы натолкнулись на эти древние заброшенные рудники, и экспедиция фактически ушла под землю. Только снаружи по ночам было худо. Палатки продувались холодом. До ближайшего источника были долгие, томительные часы. Густая коричневая пыль, проникая в мельчайшие поры, забивала нос, сушила горло. Постоянные ветры, дувшие с чрезвычайной силой, несли не только песок, но и довольно крупные камни, разбивавшие стекла предохранительных очков. Ветер не прекращался ни днем, ни ночью. Одежда, постели и пища были обиль-

но уснащены довольно крупным песком. И если бы не подземелья с их спасительной тишиной, работать было бы невозможно. Но надо рассказать не о том, чем эта экспедиция походила на обычную, а чем она от нее отличалась. А отличалась она темной, неопределенной тоской и духом клоунады, который незримо витал над экспедицией.

Такая печальная тишина и темнота царили в этих старых выработках, что хочешь не хочешь, а возникало настроение строгое и сосредоточенное. Этому настроению поддавались все: и молодые и старые. Вот строки из дневника Биденко: «Становится безразлично, день или ночь на поверхности. То проходишь по высоким очистным забоям, где гулко отдаются шаги и теряется свет фонаря, то ползешь, еле протискиваясь в узких стойках, то карабкаешься по колодцам, восстающим на другой горизонт. Здесь переходишь на другой счет времени потому, что некоторые из этих рудников относятся еще к доисторическому времени, хотя есть и более новые. Они вырыты вдоль полосы пермских отложений, заключающих осадочные медные руды, так называемых меднистых песчаников. В одном из штреков, шедшем наклонно в землю под углом 35—40 градусов, я поскользнулся и, скатившись вниз, провалился в отвесный колодец, глубоко уходивший в бездонную черную темноту. По счастью, колодец был довольно узок, и я заклинился в нем до самых плеч, как пробка в бутылке. Потребовалось немало труда, чтобы высвободиться. И первое, что я увидел, когда выбрался на край колодца и посветил себе фонарем, была надпись на стене кровавыми буквами: «ПРИВЕТ СТАРЬЕВЩИКАМ!»

ПОЧЕМУ Я ОСТАЛСЯ?

Так мы получили первую весточку от нашего дорогого, незабвенного.

Кстати, о Вале Медведевой. С ней вообще было сложно. По крайней мере ей так казалось. Когда после истории с «таблетками творчества» мы отправили его в экспедицию, поехала и она. Помню, она пришла ко мне домой, и я ее даже не сразу узнал — я ее впервые видел по-современному накрашенной.

— Владимир Андреевич, — сказала она голосом Комиссаржевской. — Я или поеду в экспедицию, или... или...

— Или одно из двух, — сказал я, чтобы поддержать одесский колорит. — Валя... губная помада — откуда это у вас?

— Из магазина «Ванда». Владимир Андреевич, вы меня не понимаете, — сказала она голосом Элеоноры Дузе и села в кресло, как на картине Серова.

— Валюша, — сказал я. — Вы простая девочка. Зачем эта древняя патетика?

— Я сама не своя, — сказала она голосом Сары Бернар.

Я понял, что дело безнадежно, и отпустил ее в экспедицию.

И вот теперь, когда Биденко нашел кровавую надпись, Валя поняла, куда девалась ее польская помада.

Все было нескладно в этой нескладной экспедиции. И то, что нас послали проверить отчет клоуна, и то,

что его уволили. Словно коричневая пыль, плавали неопределенные слухи вокруг нашей экспедиции, которой давно уже пора было возвращаться в Москву, а она с нелепым упорством продолжала искать неизвестно что. Об этой второй части наших затянувшихся поисков никогда не было написано ни одного отчета, а все затраты были списаны начальством, кажется, на культурные нужды. И что самое неприятное, кое-что просочилось в печать. Какой-то деятель напечатал в научно-популярном журнале заметку в разделе «Знаете ли вы?», в которой деловито сообщалось и о скульптуре, и о черепе, и о том, что могло послужить прототипом для понятия «дьявол». Последнее словечко не осталось незамеченным. Где-то появился фельетон, в котором слово «дьявол» обыгрывалось и так и этак и о нашей экспедиции говорилось с веселой пошлостью, а также, в частности, мимоходом лягалась вся археология и задавался вопрос: «А не пора ли финансовым органам поинтересоваться, куда идут народные денежки?»

Можно было бы фельетонисту ответить просто: деньги в науке уходят на поиски истины. Но он бы этого не понял.

В результате этой недостойной суеты мы получили приказ возвращаться. Дело приобретало неприятный оборот, а тут еще история с письмом...

Когда мы прощались с этим проклятым клоуном, он дал мне запечатанный пакет с условием открыть его, когда мы найдем пресловутого дьявола, а он, видите ли, был уверен, что мы его найдем, и, более того, утверждал, будто знает, что именно мы найдем. Всем в экспедиции было известно про это письмо; никакого

дьявола мы, конечно, не искали, а мы искали способ опровергнуть саму мысль о том, что можно заранее знать неизвестное. Все прекрасно помнили оскорбительную историю с «таблетками творчества», и теперь мы с упорством маньяков старались добыть доказательства того, что он не прав, что нет никакого особого способа мыслить, что он не мог, просто не имел права угадать, что́ именно мы найдем в этих подземельях. Потому что нам казалось тогда, что это единственная возможность нашего самоутверждения.

И вот это письмо было кем-то вскрыто, и тем нарушены правила игры, и дана ему лишняя возможность посмеяться над нашей уверенностью в своей правоте. Было такое чувство, словно мы получили пощечину. Вторую пощечину мы получили, когда прочли то, что там было написано.

«По моим предположениям, письмо будет вскрыто несколько раньше, чем вы найдете то, что должны найти, — писал он. — По моим предположениям, письмо должна вскрыть одна моя знакомая. Не обижайте ее — иногда невозможно удержаться, если ты еще совсем молодая особа. Говорят, то же самое случилось с Евой. Внутрь этого пакета я вкладываю второй — с отгадкой».

Там действительно был второй пакет. Валя Медведева уехала в тот же вечер. В тот же вечер я распорядился сворачивать экспедицию.

Он неплохо знал людей, вернее, людские слабости, но это еще не доказательство особого способа мыслить...

Погрузка была проделана быстро и хмуро. Лагерная площадка опустела. Остались только я и Биденко,

да вездеход, да еще приемник, да еще ночная пустыня с колючими звездами, которые, не мигая, смотрели на кладбище динозавров. И тогда я задал себе вопрос: почему я остался?

РАЗВЕ ЭТО СОБЕСЕДНИК?

У меня такое ощущение, что я кому-то подрядился рассказать историю и даже увлекся, а потом вдруг потерял интерес и весь порох вышел. Надо заканчивать, а не хочется. Наверное, потому, что опять весна, а весна — это время, когда хочется уклониться от обязанностей. Весна— время, когда желания раздваиваются. Хочешь думать о будущем, а взгляд обращается в прошлое. Мы всегда переносим несбывшееся туда, где нас нет. Поэтому прошлое кажется лучше настоящего, а будущее — желанней. И мы то забегаем вперед, то пятимся назад, стараясь углядеть веселое лицо счастья. Воспоминания, воспоминания, щемящая, опасная сладость. Как будто сам себя списываешь в тираж.

Я все помню. Я помню наш последний разговор с Сода-солнцем, и я помню истинную причину, из-за которой его изгнали. Она проста, эта причина. Я его предал. Никто этого не знает, даже он. Я единственный знаю. Потому что я единственный мог защитить его в самый тяжелый для него момент и не сделал этого. Никто не может меня обвинить. С любой точки

зрения я поступил правильно. С любой точки зрения, кроме моей. Потому что он преподал нам хороший урок, этот клоун, которого меньше всего интересовала наука. Как, впрочем, и всякая другая деятельность, если она сама, эта деятельность, не могла дать ответа: а зачем она нужна для человечества? В том нашем последнем разговоре, в котором были поставлены все точки над «и», а потому стало ясно, что наши пути расходятся навсегда, я мог бы все исправить, если бы не жалкая попытка сохранить свое жалкое достоинство, как будто бы достоинство ученого не в том, чтобы доброжелательно рассмотреть новую идею, если она опрокидывает твою собственную.

Уже после истории со злосчастной скульптурой и черепом, когда опять все спуталось и никто не знал, как с ним быть, я солнечным утром проходил по коридору и услышал его голос, гулко звучавший за полуоткрытой дверью. Я вошел. Он меня не заметил — стоял спиной. Солнце било в открытые окна. Седые от зноя верхушки лип застыли, как на молитве.

Он был очень возбужден, и речь его походила на бормотанье. Однако когда я вслушался, меня поразило, что он говорил четко, будто читал по написанному. Речь, как я понял, шла о логике. Он иногда сам задавал себе вопросы и сам же на них отвечал. Потом я увидел мечущийся по потолку солнечный зайчик, присмотрелся и понял, что он говорит в микрофон. Мягко вращались магнитофонные диски.

— А как вы снимаете противоречие между логикой и внезапными открытиями? — спросил он сам себя.

И тут же стал отвечать:

— Логика — это мышление в пределах открытого. Это мышление задним числом. Это установление связей между известными фактами. Поэтому при столкновении с качественно неизвестным ей делать нечего. Вот самый безупречный логический пример. И самый неверный. Когда Коперник сказал, что Земля вращается вокруг Солнца, ему ответили: «Чушь. Если бы она мчалась в пространстве, то ветром бы облака относило в противоположную сторону». Логика безупречна. Чтобы ее опровергнуть, потребовалось открыть закон притяжения и доказать, что облака мчатся с Землей как единая система, то есть предмет. Поэтому логические умозаключения годятся только для событий одного порядка. Для событий качественно новых логика не годится. Фактически вся логика сводится к утверждению, что «если это было, следовательно, это будет». Так давайте же применим этот главный закон к внезапным открытиям, и попытаемся найти их собственную логику, и не будем стараться навязать известное неизвестному, чтобы отрицать неисследованное. Факты говорят — внезапные открытия бывают. Заметьте — бывают, а не один раз были. Следовательно, они должны быть и впредь. Факты говорят — к. п. д. их огромен. Логика говорит — следовательно, он и будет огромен. Так давайте же исследовать, чтобы найти способ использовать, а потом установим новую логику внезапностей, чтобы предсказывать невероятное.

Зайчики метались по потолку. Сода-солнце заклинал человека поверить в свое величие.

Солнечный день за окном. Гипноз радости. В носу щекотало, будто выпил шипучего. Этот напиток назывался «Сода-солнце».

Я вдруг подумал, что все это похоже на прощальную речь. Или, вернее, на интервью. Он интервьюировал сам себя, и тот, кто задавал вопросы, был не глупее того, кто отвечал. Только вопросы можно было предугадать, а ответы нет.

— Как вы себе представляете такого рода мышление? — спросил он сам себя. — Это что же — знание априори или наитие свыше?

— Механизм я себе представляю так, — ответил он. — Мышление внезапностями, эвристическое — от слова «эврика», что это такое? Это следствие тоски. Тоска — это несформулированная цель. Но ведь несформулированная цель — это просто очень сложная потребность, к которой сразу и слов не подберешь. Но она есть. А ежели она есть, следовательно, она возникает по каким-то законам, которые ее вызвали. Но ведь наш мозг — это не только орган, который осознает законы, он еще и соответствует этим законам, построен по этим законам, вызван к жизни этими законами, создан этими законами. Когда наша потребность превышает какой-то порог, эти законы, вызвавшие глубинную потребность, сами отпечатываются в мозгу, как на фотопластинке, и тогда мы говорим — внезапное открытие. Я счастлив, что у Эйнштейна я нашел такое признание: «Открытие не является делом логического мышления, даже если конечный продукт связан с логической формой».

Я был доволен, не смейтесь, даже почти счастлив. Я видел его серьезным, и об идеях его стоило подумать. Явно.

Я шевельнулся. Скрипнула паркетина. Он быстро обернулся.

— А... — сказал он спокойно. — Сейчас кончу.

— Добрый день, — сказал я и кашлянул.

— Если отбросить всякую клоунаду, чем вы интересуетесь на самом деле? — спросил он в микрофон. — Без дураков, понимаете?

— Я занимаюсь соотношением творческого акта и обычного мышления, — ответил он.

Он посмотрел в белесое от солнца небо и сказал:

— У Шекспира есть выражение: понять — значит простить. Но не кажется ли вам, что понять — значит упростить?

Он помолчал:

— ...И не только в том смысле упростить, что к абсолютной истине можно только стремиться, а еще и в том смысле, что тот, кто упрощает проблему, должен быть сложнее самой проблемы. Иначе он упростить-то упростит, но ничего не поймет, кроме своей фальшивой схемы. А потому, чтобы человеку понять самого себя, ему надо как-то стать сложней собственного мозга, вот ведь какая штука. А как это сделать, вы мне не подскажете? Мы вот наблюдаем поведение друг друга и свое и стараемся понять. Но ведь в наблюдении участвует наш мозг, а он упрощает все, что понимает. Ведь понять — значит упростить, так мы договорились.

Мне показалось, что он ждет ответа от магнитофона. Даже жутковато стало.

— Но вот приходит акт творчества... — сказал он медленно. — ...И его не уследить... И результаты его всегда неожиданны... Не означает ли это, что в этот момент наш мозг на мгновение становится сложней обычного?

У меня шевельнулась догадка, от которой я сразу задохся. Но потом понял — чепуха.

— Не означает ли это, что в момент творчества наш мозг и физиологически и энергетически сложнее нашего обычного мозга?.. — сказал он. — Как вы считаете?

И выключил магнитофон.

●

— ВЕРИТЕ? — СПРОСИЛ ОН

— Все. Пока, — сказал он и вытер лоб. — Потом надо будет еще сказать об Уоллесе, чтобы перейти к главному. А то все забывается.

— При чем тут Уоллес? — спросил я.

При чем тут Уоллес? Старая, тяжелая для науки история. Соратник Дарвина, который самостоятельно пришел к теории эволюции, а потом самостоятельно от нее отказался потому, что не смог ответить, откуда, с точки зрения эволюции, у человека человеческий мозг. В науке не любят вспоминать эту историю.

Он сказал:

— Если более сложный организм происходит от менее сложного, если приспособление к среде происходит за счет случайных изменений в организме, если случайные изменения могут дать только минимальное преимущество новому виду, если случайные изменения должны соответствовать новым условиям, чтобы вид

сохранился, то для образования человеческого мозга не было у человека ни времени, ни условий, ни предшественников, ни, что самое главное, нужд. Откуда этот феномен, единственный в природе, — мозг, не порожденный реальными нуждами эволюции?

В науке не любят вспоминать эту историю потому, что и сейчас точного ответа на этот вопрос наука не знает.

— Ну вот, все ясно, — сказал я. — Признаете вмешательство сверхъестественных сил. Как Уоллес. Приятно поговорить с культурным человеком.

— Нет, — сказал он. — Не признаю. Я верю в эволюцию. Только вот Уоллес изучал самые отсталые племена — почти пещерных людей — и написал: «Оказалось, что умственные способности их намного превышают необходимость... то есть нехитрые способы добывания пищи... а их мозг мало чем уступает мозгу рядового члена наших научных обществ... Таким образом, природой создан иструмент, намного превосходящий нужды своего обладателя».

Насчет членов научных обществ — это предназначалось мне.

— Зря вы стали ворошить эту историю с Уоллесом, — угрюмо сказал я. — Успеха вы здесь не добьетесь. Только закроете себе путь в науку. На этом деле ломали себе шею люди не чета вам.

— Ученые, — сказал он.

— А зачем вам, собственно, понадобился Уоллес? — спросил я и тут же догадался: — Ага, понятно. Залетевшее откуда-то человечество, забывшее свою родословную. Значит, эволюция, только не земная, а где-то на другой планете. Стоит встать на эту точку

зрения, и объясняются факты, доселе необъяснимые. А отсюда соблазнительная мысль — не является ли человек существом, прочно забывшим, на что он годен. А творчество — это внезапные воспоминания.

— Нет, — сказал он. — Я в фантастику не верю.

Помолчали.

— Тогда так, — сказал я, — либо вы против теории эволюции, либо вам кажется...

— ...Да, кажется, — сказал он. — Кажется, я нашел ответ на этот вопрос — откуда у человека мозг.

— Каков же этот ответ?

И тут он мне рассказал. Хотите — верьте, хотите — нет, но это была самая странная идея из всех, какие мне когда-либо приходилось слышать.

Идея сводилась к следующему.

Если мы верим в эволюцию, то мы должны верить, что и сами ей подвержены. Тут две трудности. Первая — в каком направлении идет эволюция, если нам для приспособления к среде надо менять только орудия и отношения, а не свою биологию. Вторая — можем ли мы, будучи частицами потока, понять, куда движется река. Но дело в том, что мы — частицы, обладающие самосознанием, и мы заметили — развитие в природе движется то плавно, то скачками. Скачки бывают двух родов. Первый — когда происходит мутация — случайное, но закрепленное и необратимое изменение — тогда мы говорим о новом виде; и второй, качественный, в пределах одного вида, связанный с циклами его развития, типа зерно — стебель — зерно. Оба эти вида связаны друг с другом. Мутация, происшедшая, скажем, от удара частицы, происходит у той особи, которая была подготов-

лена к этому, то есть в ней накопились качества, которым для кристаллизации в новый вид нужен лишь толчок. Мало того. Должны накопиться и внешние условия, при которых обнаруживается, что существо, уродливое для прежних условий, для новых подходит как нельзя лучше и есть существо перспективное. Родился новый вид, гармоничный к новым условиям. Но новый вид — это новое нарушение биологического баланса в природе. Поэтому он вступает в борьбу межвидовую и внутривидовую. Межвидовая сохраняет вид в целом, внутривидовая шлифует качества вида. Но шлифовка качеств — это специализация породы. Она гармонична к данным условиям и не подходит к другим. Порода консервативна потому, что специализирована. Пусти болонку в лес — она погибнет. Скачок другого рода — это качественное цикличное изменение вида. Сеем зерно — оно дает стебель. Потом из стебля опять родится зерно. Оно порождено первым, но через стебель и потому отличается от первого. Чтобы из стебля получилось зерно, надо, чтобы в стебле были заложены качества, которые могли реализоваться в зерно. Если их нет, зерна не будет. Кроме того, нужна способность стебля к развитию, то есть способность приспособления к среде. Поэтому рост — это постоянное приспособление ко все время изменяющимся в известных пределах условиям. Поэтому так сложен рост и часто мучителен. Теперь возьмем человека. От всех животных видов он отличается прежде всего мозгом. Именно в этом проявилась мутация, сделавшая его особым видом. Вероятно, у той особи, у которой изменение мозга стало наследственным, было больше всего внутренних предпо-



сылок стать человеком и так сложились внешние условия, что она не погибла, то есть условия были благоприятными для разворачивающихся возможностей нового мутанта. Произошла встреча внешних и внутренних возможностей. И это был период, когда невероятная сообразительность человека сделала его царем природы. Поэтому можно предположить, что золотой век действительно существовал. Счастливый исторический момент, когда закладывалось зерно общества. Но так было до той поры, пока нехитрые потребности не превышали возможностей. Как только начали исчерпываться естественные возможности — проще, когда пищи стало не хватать для всех, — началась эволюция общества от родового строя до государства. Это был рост мучительный, как рост стебля в дурную погоду, потому что индивиды вступали в самые различные общественные комбинации, чтобы спасти себя и своих близких. Потому что жила память о золотом веке, который постепенно переносился в будущее, а с отчаяния даже — в загробный мир. Но обнаружилась странная вещь. Оказалось, что мозг человека, помимо сообразительности, то есть способности к абстрактному мышлению и логике, обладает еще одним странным качеством. При каких-то неизученных и неуследимых условиях он способен к акту творчества, о механизме которого я уже высказывал догадку: это непосредственное осознание законов и их возможных комбинаций для создания ценностей, не имеющих прецедентов в природе. Я не знаю, нужна ли для этого мутация вида или достаточно внутривидового изменения, чтобы произошел скачок, равный осознанию человеком своей способ-

ности мыслить отвлеченно. Я знаю только одно. Что если сейчас бывают моменты творчества и это самые счастливые для человека моменты, когда он на мгновение вступает в гармонию с собой, с миром и с законами, им управляющими, то только нехватка какого-то последнего условия мешает ему жить в этой гармонии все время. Но если есть предпосылки, то, значит, есть надежда на реализацию, а значит, опять возможен золотой век, где человечество будет в состоянии охватить сущность необходимых для него явлений. Мы идем к этому. Массовидность творчества говорит об этом. Нужен какой-то последний толчок. Наука должна найти его. Поэзия должна создавать предпосылки для счастливой встречи с ним. Мы сейчас люди стебля, но уже завязывается зерно.

— Верите? — спросил он. — Нас ожидает скачок в мышление. Человек будет понимать сущность явлений без анализа. Простым созерцанием. Законы будут отпечатываться в мозгу, как на фотопластинке. Верите?

●

— СТОП, — СКАЗАЛ Я

— Как я могу в это поверить, подумайте сами?.. — сказал я. — Я ученый. Это красивая гипотеза, не больше. Фантастика. Можно даже логику построить. Но ведь вы же сами утверждаете, что логика — это

связь между известными фактами, а разве этот факт известен?

Говорю, а самому тошно. Потому что я в это поверил сразу. Безоговорочно. Гипноз, наверно. А может быть, потому, что именно эта догадка мелькнула у меня самого как единственно возможное объяснение акта творчества.

— Значит, не верите, — сказал он и облегченно вздохнул.

И засмеялся.

— Не могу больше, — сказал он.

— Вот и отлично. Вот и отлично, дорогой мой.

— Хотите, расскажу еще несколько баек?

— Стоп, — сказал я. — Довольно.

— Это все пустяки, дорогой учитель. Клоунада. Я все наврал в старинном духе. Фантастика.

— Врете. Вот теперь вы врете.

— Какая разница, — сказал он, и лицо у него стало светлое и отрешенное. — Смех и слезы, дорогой учитель. Нет ничего на свете, дорогой учитель, над чем нельзя было бы посмеяться. И легче всего над слезами. Даже над трагедией Шекспира можно. Может быть, смех — это единственное, что нас отличает от животного. Смеется только человек.

— Ну, подумайте, что вы говорите, — сказал я. — С вами всегда влипаешь в нелепые дискуссии. Вы же прекрасно знаете, что есть вещи, над которыми не посмеешься. Тот же «Гамлет», например. Иначе я не знаю, что такое смешно.

Это была моя ошибка — которая по счету?

— Ерунда. Вы знаете, что такое смешно, — сказал он спокойно. — Вот, например, идет трагедия

«Гамлет». Принц Гамлет читает монолог «Быть или не быть?» И тут у него падают штаны... И дальше он читает монолог, придерживая штаны... А они падают и падают... А еще смешней, если они падают, когда принц проклинает свою мать, а за стенкой лежит труп Полония. А штаны все падают... падают...

— Перестаньте...

— А еще смешней, если штаны падают во время поединка с Лаэртом...

Я уже давно смеялся каким-то дрожащим козлиным смехом — я представлял себе дуэль без штанов, а в горле у меня закипали слезы. Оказывается, над Гамлетом (над Гамлетом!) можно было смеяться. Я перестал блеять и посмотрел на него. У него широкий рот был искривлен в улыбку, а по щеке бежал ручеек. Мне казалось, что я гляжусь в зеркало.

— Вы чудовище... — сказал я.

— Я человек, — сказал он. — А вы посмеялись над предположением, может быть самым важным в истории человечества.

А что, если это всерьез? После этого я пошел к директору и все уладил. Три с половиной часа разговора — ему решили простить и на этот раз. Пусть только уедет в экспедицию. Экспедиция должна быть чрезвычайно интересной. После этого он подошел ко мне и сказал, что не едет.

— Я совершенно серьезно, — сказал он. — Я не еду с вами в экспедицию.

Я почувствовал усталость и отвращение. Этого было достаточно даже для меня.

— Ну... что ж, — сказал я. — Вы подписали свое увольнение.

— Да-да, я знаю, — сказал он. — Мне пора уже уходить. Я и так чересчур задержался в археологии.

Мне уже все как-то было все равно — не знаю, можно ли так сказать. Я вдруг как-то сразу понял — это же смешно, ему же действительно в науке делать нечего. То, что я смутно чувствовал, подтвердилось. Я почувствовал облегчение. У облегчения был хинный привкус.

— Могли бы хоть раньше сказать. Сколько я хлопотал за вас! Думаете, приятно?

— Я тогда еще не знал, что ухожу.

— Что же изменилось?

— Мне скучно ехать с вами. Я понял, что вы найдете при раскопках.

— Понятно. Творческий акт. Догадались, не заглядывая под землю. Так что́ мы, обыкновенные люди, там найдем?

— Нет уж, — сказал он. — Поезжайте и найдите. С вами поедет мое письмо. Когда найдете, вскройте. А то опять не поверите. Итак... мы прощаемся с вами...

Он опять засмеялся.

— Стоп, — сказал я. — Стоп.

Ну что ж, оставалось только поехать и доказать ему и самим себе, что мы и есть венец творения, и что по-другому мыслить пока что не предвидится, и что он не мог угадать, что́ мы там найдем среди старых костей. И этим покончить с бредовыми идеями, которых за последнее время расплодилось что-то чересчур много вокруг меня, тихого человека.

ДА, НО ФИГУРА ШЕВЕЛЬНУЛАСЬ

И вот теперь только пустыня и мы с Биденко. Мы остались на сутки. У нас были предположения. Личные. Мы хотели их проверить.

В день отъезда ветер упал, и можно было с толком провести погрузку. Грузились хотя и без спешки, но внутренне торопливо. Как только прекратился ветер, все азартное напряжение последних дней показалось каким-то романтическим и почти сентиментальным. Все испытывали чувство неловкости и потому уезжали с облегчением, как будто старались что-то забыть. Лагерь кипел, как муравейник. Спокойная проза, заменившая пьяную лирику последних дней, ощущалась как глоток свежего пасмурного утра после прокуренной ночи. Дымились костры, свертывали палатки. Подошел Паша Биденко и тронул меня за локоть.

— Владимир Андреевич, — сказал он. — Я нашел ад.

— Вот как? — сказал я. — А Вельзевула?

— Нет, Вельзевула я не нашел, — ответил Биденко. — Хотите, покажу?

Ад так ад. Никакой мистики. Человек нашел простой реалистический ад. Мы еще и не то находили в этой экспедиции. Мы нашли в заброшенной штольне еще одного индрикатерия и человеческие скелеты рядышком. Даже без анализа было понятно — возраст у покойников был одинаковый. Одногодки, так ска-

зать. Видимо, поссорились и повредили друг друга насмерть. Мы разучились удивляться. Мы только старались не думать о том, как все это будет выглядеть потом и в каком мы окажемся положении, когда ученый мир произнесет спокойное слово «блеф». А теперь Биденко нашел ад. Почему бы ему не найти ада?

Мы спустились в шахту. За месяцы работы она нам стала знакома, как истопнику котельная. Внизу заканчивались работы. Последние группы подтягивались к выходу. Мы уходили все дальше и дальше, пока не достигли хорошо известного нам тупика, которым заканчивался этот рудник.

А ведь все-таки он нашел ад, этот Биденко. Тупика-то ведь не было, а был оптический эффект. С того места, откуда мы обычно смотрели, казалось, что это действительно тупик. А другого места, откуда смотреть, не было вовсе. Потому что под ногами был колодец, уходящий невесть куда. Поэтому дальше никто не ходил, хотя и была дорожка у самой стены. Оказалось, если пройти дальше по этой дорожке, становится виден аккуратно вырезанный в породе сводчатый проход, в который мы и проследовали с Биденко. А он ведь все-таки нашел ад, этот флегматик. Я давно замечал, что истину труднее всего заметить, если она под носом.

Была даже река забвения — Стикс. Не было только перевозчика мертвых Харона и воды в реке. Зато было высохшее русло огромной реки да еще груды человеческих скелетов на дне. Видимо, Харон сбрасывал их прямо в воду. А может быть, это были скелеты тех, кто пытался бежать из этого ада и тонул в Стиксе. Еще бы не река забвения, когда из всех трещин

высохшего русла поднимались серные испарения! Видимо, эти минеральные воды тысячи лет назад многих излечили от жизни.

Мы перебрались через русло и поняли, что тут-то и начинались настоящие рудники, все остальное было только преддверием ада. Я даже поискал, нет ли надписи: «Оставь надежду всяк сюда входящий», — но надпись почему-то не сохранилась.

— А ведь индрикатериев-то они держали для охраны, — сказал Биденко.

— Кто они?

— Не знаю. Дьяволы, наверно.

Странный и фантастический мир открывался взгляду. Видимо, здесь добывали золото, и, самое фантастическое, им был известен амальгамный способ. Запах серы поднимался от горячих источников, сочился в трещины и оседал каплями на гладких стенах, промытых и отшлифованных сквозняками тысячелетий. Вонючая жара, отблески света. Странные тени дико метались на вспыхивающих кристаллах. При каждом движении возникали и пропадали рогатые морды. Но это все тени, тени, скачущие по изломам переходов. Выпрями и отгладь все неровности и изгибы, и останется только одна тень, мирная, ручная, вызванная ручным фонарем и описанная школьными, совсем ручными законами, и пропадут дьяволы. Может быть, все дело в этом? Спутанный, невнятный мир, и вот появляются дьяволы и пляшут в переходах. Но приходит наука, разглаживает морщины вселенной и освещает дорогу вперед ровным светом карманного фонаря. Но это одна сторона. А представьте себе науку в виде ста, тысячи, миллионов карманных фона-

рей, освещающих огромный тоннель, уходящий в бесконечность. Но разве это наука? Это только один ее признак — мужество. Какой яркий скучный свет, какое выровненное пространство, в котором можно жить, но не хочется. Наука настороженная, наука, основанная на опасении, — какая невеселая наука! Тысячи лет назад хмурый ученый придумал ограду против дикого зверя «лошади». А веселый ученый приручил зверя и вскочил в седло. Он знал — нет неполезной природы, есть только неоседланная.

Мы обходили черные колодцы, пробирались по тоннелям и штрекам и входили в залы, про которые можно было бы сказать, что здесь не ступала нога человека, если бы они не были выдолблены человеком тысячи лет назад. Какие люди их вырыли, чье невероятное неведомое благосостояние держалось на их адском труде? Было понятно, как возникла легенда о кругах ада. Для этого не нужна была фантазия, нужны были натурные зарисовки...

— Да... — сказал Паша Биденко. — Не знаю, кто был прототипом дьявола, но что касается ада, то лучшего места не подберешь.

— ...Подождите, Паша, — сказал я.

— Я хочу сказать, ад мы уже отыскали. Теперь найти бы дьявола — и можно писать отчет об экспедиции.

— Да тише вы... — резко сказал я. — Помолчите.

— А что?

— Вон... глядите...

Мы как раз миновали черный колодец и стояли у поворота чрезвычайно ровного и гладкого тоннеля.

— Что это, Владимир Андреевич? — шепотом спросил Паша.

— Понятия не имею, — шепотом ответил я.

Далеко впереди была видна какая-то фигура. И это не было тенью.

— Скульптура... — нерешительно сказал Паша.

— Нет... — ответил я. — Она двигалась.

— Проверим, — сказал Паша и направил туда свет фонаря.

Фигура резко дернулась.

Я схватил Пашу за руку и оттащил назад. Паша поскользнулся и крякнул. Издалека донеслось что-то похожее на довольный смешок.

— Ну... что будем делать? — спросил Биденко, тяжело дыша.

— Пошли обратно, — сказал я. — Надо все обдумать.

Стараясь не очень спешить, мы пустились в обратный путь. Оборачиваться не хотелось. Иногда нам казалось, что за нами кто-то бежит, легко, словно на цыпочках, иногда слышался топот многих ног.

— Чепуха, — сказал Паша, покосившись на меня. — Обычное эхо. Многократное отражение. И хохот — это тоже эхо.

— Знаю, — сказал я. — А все-таки противно.

Потом мы, наконец, услышали голоса и добрались до первых групп, которые заканчивали работу. Слышался деловитый стук молотков, вспыхивали последние «блицы» жадных фотографов, группа отдыхающих занудно тянула что-то из туристского фольклора. Все было обычно и потому мило сердцу. Не верилось ни в ад, ни в дьяволов. Даже ископаемые чудища,

которых мы уже вывезли на три вагона, казались изготовленными артелью наглядных пособий. Девочки и мальчики, мрачные дипломники и томные кандидаты наук, занимались самой мирной на свете наукой: собирали и хранили остатки уже неопасного прошлого, чтобы помочь людям не забывать своих ошибок, за которые они всегда расплачивались одной ценой — кровью.

А наверху, в лагере, пахло бензином и тушенкой, тяжело разворачивались грузовики и пищали транзисторы. Самая мирная, самая дорогая для меня картина — веселое человеческое кочевье, занятое поисками истины. Никакой дьявольщиной здесь не пахло.

Да, но фигура в том дальнем подземелье шевельнулась.

Раздались выстрелы. Кто-то салютовал стартовым пистолетом, раздались крики «ура», и это было единственное спортивное мероприятие за всю экспедицию — такие были условия. Потом последние машины укатили, высыпали звезды. И остались мы с Биденко.

Да, но фигура в дальнем подземелье шевельнулась.

●

НАМ ЭТО НЕ ПОМОГЛО

И вот мы снова двигаемся по знакомым нам переходам, но теперь мы совсем одни на все подземелье, если не считать фигуры там, в аду, которая была бы

совсем похожа на скульптуру, если бы не шевелилась.

Ярко светили заново заряженные фонари. Мы не имели права делать то, что мы делали, но опасности, видимо, не было никакой, во всяком случае опасности, предусмотренной инструкцией. За все время изучения этого проклятого рудника мы не обнаружили ни одного следа обвалов. Тысячи лет простояли эти штольни, с какой стати им было обрушиться именно сейчас. Весь мой опыт говорил — опасности нет. А о той опасности, которую не предусматривала инструкция, не знал никто. Опасность состояла только в том, что мы не взяли с собою даже охотничьих ружей. Не хотели возбуждать ненужные опасения. Считалось, что мы задержались привести в порядок записи. Паша только захватил с собой пару хороших топориков да еще в последний момент взял у физорга стартовый пистолет.

Почему мы все-таки пошли? Ответ на это простой. Хотя, как у всякого простого ответа, предпосылки у него сложные. Мы пошли в этот ад вдвоем, без оружия, без страховки, никому не сказавшись, нарушив инструкцию, короче — очертя голову, по двум противоположным причинам. Пошли потому, что для меня это было последнее в моей жизни приключение, а для Паши — первое. Что значит приключение, почему человек идет на риск, ничем не вызванный? Потому что он хочет проверить, на что он годен. Мне за семьдесят, Биденко за двадцать, между нами полвека. Мне скоро уходить, а ему начинать. Из всех моих учеников по-настоящему я верил только в него. Надо ли объяснять почему? Видимо, надо. Потому, что он счи-

тает истину важней себя. Полвека — и пять тысяч лет. Всего сто поколений тому назад кто-то бежал из этого ада, чтобы рассказать правду. И я верю, что это был ученый. Так же, как я верю, что первый, кто добровольно сюда спустился, был поэт. По преданиям, его фамилия была Орфей. Только вот возлюбленная, которую он почти вывел из ада и спас, не смогла пойти за ним без оглядки. Впрочем, с поэтами это происходит и по сей день. А кто из нас хоть немножко не поэт? Так вот, если это смогли они, когда существовали дьяволы, то это должны суметь и мы, когда дьявола дезавуировали из брандмайоров в простые топорники.

Все было настолько фантастично вокруг, что я еще подумал: а что, если дьявол в самом деле существует? Какие-нибудь пришельцы из другого мира, которые с известными только им целями проводят эксперименты над людьми и изредка подбрасывают им идейки вроде атомной бомбы.

Я подумал о фантастике потому, что стыдно признаться, но, когда экспедиция уехала, мы с Биденко вскрыли это письмо. Мы вскрыли это письмо потому, что мы имели право хоть сколько-нибудь подстраховаться. А вдруг он действительно угадал, что за фигуры болтаются там, в подземелье?

Этим мы как бы допускали, что мы — серые люди, а он — прогнозист высшего класса, который разом, без выбора вариантов понимает сущность явлений. Все это, конечно, отговорки. Мы просто не удержались, когда мы остались наедине с письмом, и посмотрели друг другу в глаза.

Мы вскрыли это письмо. Но нам это не помогло. Вот это письмо.

●

ГЛЯДЕЛ НА МЕНЯ

«Мне кажется, я знаю, что вы там нашли. Что касается ада, то это, конечно, золотые рудники. Однако почему я решил, что искать его надо где-то в этих краях? Потому что, когда я еще занимался Митусой, то обратил внимание на то, что восстание, в котором участвовал певец, было как раз, когда началось нашествие татарских орд Чингисхана, и, видимо, было как-то связано с этим нашествием. Тут я вспомнил, что слово «татары» — «выходцы из тартара», из ада. А что, если слово «татары» означало не национальность, а выходцев из какого-то места в тех краях, откуда двигались Чингисхановы орды, и которые древние считали «тартаром», адом? Эта мысль засела у меня в мозгу потому, что она возникла внезапно, как отчетливый образ.

Как рождается образ, никому не известно. Это и не наблюдение, и не воспоминание, и не выдумка, и не механический сплав деталей. Образ — это самопроизвольно возникающее представление, обладающее не только необычайной отчетливостью, но и необыкновенной притягательной силой. Образ может быть и слуховым, и зрительным, и словесным, но это не гал-

люцинация. Творческий образ возникает сразу в своем материале — слышишь мелодию на рояле, видишь дворы, где никогда не бывал, или возникает страница книги, никем не написанной. Описать разницу между образом и выдумкой или воспоминанием не могу. Но каждый, кто сталкивался, знает.

Но как только образ возникает, над ним сто́ит поразмыслить. Как только мне представился ад, я подумал: нет на свете ничего ужасного, что бы мог придумать дьявол и чего бы не мог придумать человек. Ну, что там в запасе у дьявола? Кипящая смола и серные душегубки, бессмысленный сизифов труд, крючья, на которые подвешивают за ребра, танталовы пытки голодом и жаждой. Было, все было. Было и похуже — азиатские пытки крысой и европейские — током. Все было. И все это делали люди. И если спокойно и холодно продолжить эту мысль, то она со ступеньки на ступеньку, со ступеньки на ступеньку будет опускаться все ниже и ниже и отправится по знакомому адресу, где на дверях табличка «Фашизм». На протяжении веков эта табличка менялась — иногда она называлась ад, иногда тартар, но все равно это фашизм. Проходит время, забывается теория фашизма, и вот уже детям кажутся выдумкой рвы с трупами и печи, где сожгли миллионы живых людей. А представьте, если истлеет пленка кинохроники, где бульдозеры сгребают в кучи голые тела, что́ останется через тысячи лет? Легенда об аде и застенках пыток. И уже никто не поверит тогда, что фашисты биологически не отличались от людей. И тогда придумывают дьяволов, выходцев из тартара, как это уже происходило не раз. А ведь никаких выходцев из тар-

тара не было. Были обыкновенные люди, но только потерявшие образ человеческий. Потому что тартар был у них в душах. Потому что тартар — это всегда расизм, то есть мысль, что человек другого племени — и не человек вовсе.

Оставим это. Тошно об этом думать и мерзостно писать.

Я прощаюсь с вами, дорогой учитель. Поэтому такое длинное письмо. Я запомнил вас еще с войны, ваше хмурое добродушие, ваше желание прислушаться к любому новому слову, от кого бы оно ни исходило, ваше спокойное умение выдать человеку аванс человечности и не очень торопиться получить проценты. Еще в войну из всех людей, которые случайно видели фотографию женщины, вы один не допытывались, кто она такая, хотя вы единственный человек, которому мне хотелось об этом рассказать. Женщины этой нет. Это образ. Еще мальчишками мы с художником Костей Якушевым и еще одним — физиком Алешей Аносовым сложили его из нескольких сот фотографий женских лиц — все тогдашние красавицы, — и у нас ничего не вышло. Мы складывали два переснятых негатива, взятых в одном масштабе, и делали одно фото. Потом мы складывали его с таким же сдвоенным фото и получали счетверенное. И так далее — в геометрической прогрессии. Мы остановились только тогда, когда уже ничего существенно не менялось. Мы получили странное, ослепительно красивое, но какое-то зловещее, почти мертвое лицо. И его забрал Костя. Потому что оно нам стало мерещиться и на улице и во сне. Через сутки Костя принес это фото обратно. Это было то лицо, ко-

торое вы знаете. «Я тут кое-что тронул, — сказал он. — Сам не знаю, как это получилось. А потом снова сфотографировал...» Изменений в лице не было заметно, это была та же самая женщина, но она была живая. Тогда мы все догадались, что такое творчество: не сумма, а скачок в новое качество — и затосковали. Потому что поняли: нам такую не встретить, а я обречен к ней стремиться. И еще мы поняли, как тяжело экспериментировать над человеком.

Еще два слова, чтобы покончить спор с вами, потому что спор — вещь неглубокая, по-моему, гораздо плодотворнее обмениваться идеями. Да и вообще спор — это не мое дело. Потому что искусство воздействует образами, а не доводами, даже если изображает людей, приводящих доводы друг другу.

Я прощаюсь с вами, дорогой учитель. Наука не совсем для меня. Если я правильно себя понимаю, мое дело — искусство. Поэтому я ухожу. Я подзасиделся в девках и пора уже выдавать продукцию. Просто я сделал большой виток и теперь возвращаюсь к пепелищу помятый и обогащенный. Я просто искал точку зрения. Если чересчур высоко взлететь — не видно людей, чересчур низко — видишь брюхо соседа-исследователя, который твердо знает, что такое творчество, однако сам не плодоносит почему-то. Я подумал: а почему архимедову точку опоры надо искать вне человека, а что, если она внутри его? И тогда, догадавшись, что я-то ведь тоже человек, я пустился в поиски самого себя, справедливо полагая, что в случае неудачи потеря для всех небольшая, а в случае удачи это находка для многих. И когда я догадался,



что Уоллес не учел скачков качественных, я одновременно догадался о том, где искать дьявола, и о том, каким будет мышление у будущего человечества. Потому что любой талант — это способность скачкообразно осознавать истину, и Леонардо да Винчи — это первый нормальный человек будущего, до сих пор обреченный на непонимание.

Таким образом, я опровергаю Уоллеса, а не поддерживаю его и делаю дальнейший вывод из теории эволюции. Хотите знать, как я пришел к этой идее? У всех нас есть чувство, что человек может быть лучше, чем он есть. А что значит быть лучше? Это значит соответствовать основным условиям своего существования. А основные условия для человека — это другие люди, отношения с которыми постоянно искажаются его и их вожделениями. Однажды я видел, как три тысячи человек слушали старичка, который сидел спиной к публике. И это были совсем другие люди, не те, которых я знал раньше. Старичок на органе играл Баха. И тогда я подумал, что если сейчас человек иногда бывает таким, то когда-нибудь он таким будет всегда. И если для этого надо стать музыкантом, художником или поэтом — в общем органистом, то я хочу им стать, чтобы тормошить души и готовить те времена, когда люди наследственно станут такими, какими они сейчас бывают в момент творчества. И тогда бы я без горечи отказался от клоунады. Потому что клоунада — это только начало. Над клоунами смеются, но скоморохи начинали битву. Клоуны всегда отстаивали попранное человеческое достоинство. А достоинство человека — в его способности радоваться нежности.

И я написал песню. Она называется «Песня об органисте, который в концерте известной певицы заполнял паузы, пока певица отдыхала»:

Рост у меня
Не больше валенка.
Все глядят на меня
Вниз,
И органист я
Тоже маленький,
Но все-таки я
Органист.

Я шел к органу,
Скрипя половицей,
Свой маленький рост
Кляня,
Все пришли
Слушать певицу,
И никто не хотел
Меня.

Я подумал: мы в пахаре
Чтим целину,
В воине —
Страх врагам,
Дипломат свою
Представляет страну.
Я представляю
Орган.

Я пришел и сел.
И без тени страха,
Как молния ясен
И быстр,
Я нацелился в зал
Токкатою Баха
И нажал
Басовый регистр.

О, только музыкой,
Не словами
Всколыхнулась
Земная твердь.
Звуки поплыли
Над головами,
Вкрадчивые,
Как смерть.

И будто древних богов
Ропот,
И будто дальний набат,
И будто все
Великаны Европы
Шевельнулись в
В своих гробах.

И звуки начали
Души нежить,
И зов любви
Нарастал,
И небыль, нечисть,
Ненависть, нежить
Бежали,
Как от креста.

Бах сочинил,
Я растревожил
Свинцовых труб
Ураган.
То, что я нажил, —
Гений прожил,
Но нас уравнял
Орган.

Я видел:
Галерка бежала к сцене,
Где я

В токкатном бреду,
И видел я,
Иностранный священник
Плакал
В первом ряду.

О, как боялся я
Не свалиться,
Огромный свой рост
Кляня.
О, как хотелось мне
С ними слиться,
С теми, кто, вздев
Потрясенные лица,
Снизу вверх
Глядел на меня».

●

СЧАСТЛИВО ТЕБЕ ДОЛЕТЕТЬ, КЛОУН

Мы вскрыли это письмо, но нам это ничем не помогло. Никакой разгадки пресловутого «дьявола» там, конечно, не было. Потому что, конечно, там был третий конверт. Он знал, что делал, и неплохо вел партию в поддавки. И то хлеб, что даже при всей его фантазии ничего фантастического он не предполагал обнаружить в подземелье, а только что-нибудь очень человечески вредное. Но что именно? Живого фашиста, что ли, который прождал нас в подземелье 5 тысяч лет? Интересно, чем он питался?.. Ну, тут начиналась

фантастика... Бр-р... А все-таки жаль, что не взяли ружей.

— Владимир Андреевич... вот она... — сказал Биденко.

Впереди маячила неясная фигура.

...Все, что случилось дальше, было похоже на страшный сон. Да, пожалуй, это и был сон. Потому что только во сне можно было провалиться в такую зловонную клоаку, в которую я ушел, как только ступил на хрусткую корочку, покрывавшую ровный пол, ведущий к последнему переходу. Если бы не страховой пояс и не Биденко, потонуть бы мне в этом проклятом застенке. Мы выбрались, перемазанные какой-то дрянью, на твердое место, и, когда подняли головы, перед нами в неясном свете фонарей возникло чудовище.

Оно стояло перед нами неподвижно. Хотя вряд ли это можно было назвать неподвижностью. Серный дым окружал его полупрозрачной пеленой. За головой его то появлялся, то пропадал блеклый ореол, и тогда стоящие дыбом волосы его вспыхивали. Я сказал — за головой? Не точно. Оно все время меняло облик и как бы переливалось внутри черного силуэта. Страшная морда его двоилась, и руки его при движении утончались и вытягивались. Разглядеть его не удавалось из-за испарений и пляшущего света, от которого красными угольками вспыхивали глаза. Оно молчало.

Я нащупал в кармане стартовый пистолет. Защищаться нечем — вот он, тот свет, куда попадают грешники... Мелькнула сумасшедшая мысль: все-таки пришелец...

Костенея от ужаса, поднял свою стартовую безделку — инстинкт сильнее нас...

Чудовище тоже подняло руку. Она вытянулась вперед и удлинилась, словно щупальце. На конце щупальца я успел разглядеть пистолет с огромным жерлом. Спасения не было,

— Ложись! — дико вскрикнул Паша, прерывая оцепенение.

Я успел кинуться ничком — это в мои-то годы.

Раздался оглушительный выстрел. Потом тишина и полутьма.

Кто-то цепко схватил меня за щиколотки. Я вскрикнул и потерял сознание.

Очнулся я на холодке.

Черный огромный силуэт, склонившийся надо мной, заслонял звезды.

— Это я, Владимир Андреевич, — сказал Паша.

Сухие руки массировали мне сердце.

— Все в порядке, — сказал я. — Спасибо, Паша.

Как он меня тащил наружу по всем кругам ада, легко себе представить.

Потом мы отлежались на песочке. Паша помог мне подняться, и мы поплелись к своему вездеходу.

Он победил нас, Сода-солнце.

— Когда вы догадались? — спросил я Пашу.

— Когда разбился фонарь.

— Я тоже. Ну, вскроем письмо. Интересно все-таки...

Мы вскрыли последний конверт и прочли его при свете фар.

«...Человек должен хоть иногда встать над самим

собой. Потому что, кроме как на самого себя, ему надеяться не на кого. Помните, у Грина: «Я лечу, я спешу по темной дороге...»

Я лечу, я спешу, я ищу нового человека, похожего на каждого из нас, когда мы слушаем песню. Поэты всегда немножко клоуны, но клоунада — это петушиный крик на заре. Пожелайте нам света в пути, ученые.

Да, кстати, совсем забыл. Что же вы там нашли? Не огорчайтесь, дорогой Владимир Андреевич, в вас меньше всего чего-либо дьявольского. Просто вы нашли первое на свете зеркало. Вот и все. Может быть, оно было кривое.

Сода-солнце».

...Счастливо тебе долететь, клоун.

ГОЛУБАЯ ЖИЛКА АФРОДИТЫ



ОБЩЕЕ ВСТУПЛЕНИЕ. РАССКАЗЫВАЕТ ФИЗИК

Нас было трое друзей, влюбленных в одну женщину. Да, я забыл сказать, что эта женщина была каменная. Когда-то, в далеком неправдоподобном детстве, мы отправились в путь за красотой. Но двадцатый век — это странный век метаний между рационализмом и инстинктами, и потому в нашей попытке найти живой эталон красоты была причудливая смесь того и другого.

Мы собрали по всем журналам несколько сот фотографий красивых женских лиц тех давних времен, пересняли их в одном масштабе и многократной экспозицией создали один сводный негатив.

Мы трепетали, когда делали первый отпечаток, и, видимо, не напрасно. Когда мы вытащили на свет мокрое фото, мы увидели лицо мертвого человека.

Надо ли описывать наш испуг? Однако кончилось все очень странно. Якушев взял себе этот отпечаток и исчез дня на три, а потом принес его обратно.

— Я тут тронул кое-что, — сказал он. — Потом снова сфотографировал.

На нас глядело живое прекрасное лицо. И мы тогда догадались, что красота не состоит из признаков.

Мы сделали три отпечатка и разошлись по трем дорогам. Теперь один из нас — Костя Якушев — художник, другой — Гошка Памфилов — поэт, третий — физик. Физик это я, Аносов Алексей.

Через несколько лет после войны мы встретились снова.

Помните эту историю, когда где-то в Африке нашли древнюю скульптуру? Фотография женского лица обошла все газеты. Скульптуре было 12 тысяч лет, цивилизация времен Атлантиды, но не это было самым интересным, для нас по крайней мере. Самое интересное было то, что она была как две капли воды похожа на лицо с пожелтевшего фото, которое каждый из нас хранил с самого детства. Вот так.

Такая же странная сила и тающая нежность были в этом лице. Попробуйте найти объяснение этому сходству! Мы попробовали.

Костя Якушев считал, что эта скульптура — обобщенный образ красоты, разлитой в мире, и что ее можно только собирать и собирать по капле, чтобы создавать небывалое, и что одинаковый путь привел к одному результату и нас и того мастера древних времен — отсюда сходство.

Я считал, что это портрет женщины, прилетевшей из космоса 12 тысяч лет назад, и тосковал, что не увижу второго прилета, а сходство объясняется тем, что в нас заложена программа гармонии, то есть тяга к человеческому усовершенствованию, и когда мы инстинктивно ее осуществили в фотопортрете, то результаты невероятно совпали с живым прототипом.

Гошка же шел еще дальше. Потому что он был максималист. А что это за поэт, если он не максималист? Он считал, что поскольку образ возникает в мозгу по каким-то законам, то эти же законы могут породить и его реальный прототип.

Вот причина сходства.

Мы любили эту женщину, но судьба каждому из нас готовила поражение.

Так давайте же расскажем о трех поражениях, потому что они привели к одной победе.

Первым расскажет художник.

●

ОБЫДЕННОЕ КОЛЬЦО. РАССКАЗЫВАЕТ КОСТЯ ЯКУШЕВ ПО ПРОЗВИЩУ ДА ВИНЧИ. КРАХ ПЕРВЫЙ

У меня всегда одно и то же — встану на перекрестке и думаю: как дойти домой? По одной дороге — далеко, но привлекательней, по другой дороге — ближе, но все известно. И так всегда: как идти? По длинной дороге глупо, по ближней — скучно.

Вот и в этой истории я затрудняюсь связно рассказать все, что было. Если рассказать коротко, надо опускать столько обстоятельств, что вся история становится почти бессмысленной, все равно что из курицы сделать не бульон даже, а бульонный кубик. И солоно, и сухо, и несъедобно.

Поэтому давайте вести рассказ по старинке, чтобы он был похож на веселого зеваку, который оглядывается на витрины, на проходящих девушек, сворачивает в сторону обсудить чужой скандал и так помаленечку добирается до цели. А когда добрался — видит, что пришел обогащенный, и не растерял, и ничего не забыл, и на прежнюю цель смотрит спокойны-

ми глазами, и она для него не фетиш, не кумир, а просто этап, и, стало быть, он остался человеком. А это в общем-то самое главное. Хотя есть и другие мнения.

Когда уже все устали от еды и анекдотов и расположились кто где, чтобы сообразить, чем развлекаться дальше, я увидел ее.

Ну конечно же, господи, совершенно очевидно, что история дальше пойдет про то, как он увидел ее и что из этого вышло. Почему-то до сих пор это все еще интересно, хотя периодически считается, что с этой темой покончено... Эта ошибка обнадеживает.

Дальше, конечно, надо будет рассказать, как она сидела в кресле, и какие у нее были ноги, и что я почувствовал, глядя на... виноват, я хотел сказать, глядя ей в глаза. Отделаемся сразу. Ноги у нее были красивые, как у фестивальной звезды, а глаз я не видел, так как она разглядывала журнал, где на обложке был изображен слащавый мальчишка с усиками. А так как журнал был огромный, то ноги ее, казалось, росли прямо из журнала и принадлежали этому любимцу природы. Мне стало противно, и я отвернулся.

Потом я почувствовал на себе чей-то взгляд и оглянулся поеживаясь. Она опустила журнал и смотрела на меня.

Разве есть хоть одна история, которая началась бы сейчас, сию минуту, кто может похвастаться, что знает начало отсчета? Она опустила журнал и смотрела

на меня. О чем это говорит? Для вас ни о чем, для меня о многом.

И это многое случилось давным-давно, еще тогда, когда я занимался третьей сигнальной системой. Я тогда был начинающим художником и додумался до нее самостоятельно. Одно время о ней очень много говорили. Напомню вам, в чем суть дела.

Нас учили как? В искусстве, дескать, есть содержание и есть форма, и содержание искусства — это факты жизни и их связи, а форма — это сумма приемов, в которые эти факты воплощаются. А тогда возникал вопрос: откуда брать эти приемы? У великих художников? А они откуда брали? И не потому ли они великие, что сами их изобретали? И потом, может быть, не в фактах дело, а в том, кто за ними стоит... Вот Верещагин всю жизнь писал потрясающие факты — битвы, казни, а Рембрандт — соседей по квартире. Кто лучший художник — можно не спрашивать.

Стало быть, один художник от другого отличается каким-то особенным богатством внутренней жизни, которое нельзя свести ни к интеллекту, ни к эмоциональности; ни ум, ни темперамент еще не делают художника, хотя и нужны ему, как всякому человеку. И вот, занявшись тогда поисками этой особенности, я убедился, что ее, особенность эту, можно определить одним словом — вдохновение. Я понял, что это некое душевное состояние, свойственное только тем, кто может изобретать эти приемы, а не копирует их, и только в тот момент, когда он их изобретает.

Что же заведует в мозгу вдохновением? Ежели оно есть, должен быть и механизм. Первая сигнальная система заведует сношениями с внешним миром, рецепторы — глаза, уши и прочее. Вторая заведует речью. Опять не годится. Описать свои ощущения может каждый, а изобрести нечто новое — только некоторые. И тогда мне пришло в голову, что должна существовать третья сигнальная система, заведующая вдохновением, то есть особым способом мышления, которое отпущено многим, но возникает редко. И в эти моменты человек добивается результатов, которых ему никаким другим путем не добиться.

Парнем я тогда был неглупым, хотя и наивным до изумления.

Изложил я все эти соображения в письме, снабдил большим количеством цитат — высказываний великих мастеров, описывающих это состояние, и отправил в Академию наук. И получил оттуда ответ — он у меня и сейчас хранится. Суть ответа такова. Третьей сигнальной системы быть не может, потому что о ней ничего не говорится у Павлова, а кроме того, мысль о ней не нова, ее высказывали академики — приводились фамилии, — но после соответствующей критики они отказались от этой мысли.

Ну тут я сразу успокоился. Потому что времена были такие, что после соответствующей критики отказывались от собственных родителей, не то что от мысли. И я, конечно, сразу успокоился. Если ученые, экспериментаторы своим ходом пришли к этой мысли, стало быть, третья сигнальная существует, а остальное — дело не мое. Мое же — искать способы развивать ее практически, если ее можно развить.

А пока я возился с этими непонятными никому делами, у меня начались личные неприятности, неудачи и обвалы, и вопрос встал так: либо надо бросать заниматься ерундой и жить как все люди, либо потерять то подобие семьи, которое сложилось у меня к тому времени.

И решил я все бросить к чертям и только напоследок сходить к одному человеку, который жил на даче под Москвой.

Это был странный человек. Режиссер, украинец. Одни видели в его фильмах гениальность, другие — фальшь. И все сходились на том, что его картины странные. А суть была в том, что та монументальная форма, которую он искал для передачи душевных своих взлетов, не могла быть сфотографирована с натуры. Поэтому гениальные кадры перемежались у него с недостоверными. Догадайся он воплотить свои замыслы, скажем, в мультипликации — получились бы шедевры. Но в его время мультипликация числилась по ведомству мики-маусов и царевен-лягушек, и даже Шекспира играли обыкновенные живые актеры с прыщиками и насморком.

Я пошел к нему. Он должен был знать, что такое вдохновение.

Был вечер. Шоссе после электрички показалось тихим, хотя и по нему пролетали субботние машины с удочками, гитарами и снедью для пикников.

Я свернул на щербатую асфальтовую дорожку между заборами дач и черными елями и вдалеке увидел двух девушек в сатиновых спортивных шароварах и майках. Одна, та, что справа, была обыкновенная, а вторая, та, что слева, была необыкновенная.

Я это сразу заметил, хотя видел вдалеке только силуэты.

В необыкновенной все было необыкновенно. И тоненькая талия, и плечи подростка, и тяжелые, приподнятые чуть-чуть волосы, кое-как заложенные в пучок, и то как она шла в своих неуклюжих ситцевых длинных штанах пузырями. Боже, как она шла! А как она шла? Фейхтвангер описывает, как император Тит влюбился в принцессу Беренику только из-за походки. «Вот какие здесь водятся», — подумал я. Когда я их догнал, я уже был совсем готов.

— Как пройти на дачу?.. — спросил я и назвал фамилию режиссера.

Она обернулась, нет, повернула голову на длинной шее, посмотрела на меня чуть хмурыми глазами и сразу стала похожа на олененка.

Оказалось, что она живет у него на даче уже третий день и приехала откуда-то с юга. Вот так та-ак!.. Я молол всякую чепуху, подруга смеялась, и олененок шел, не поворачивая головы, а я думал: болван, ведь я мог увидеть ее на три дня раньше.

Один раз только она обернула ко мне лицо. Это когда нас обогнал дядька, у которого верхом на шее сидел трехлетний клоп, и дядька держал его за сандалии.

Я сказал:

— А наверно, приятно, когда такой сидит у тебя на шее и держит тебя за щеки.

Она вдруг обернула лицо и улыбнулась. Черт возьми, ей понравилось, что я люблю детей, и она меня признала.

Мы пришли на дачу.

По двору ходила огромная непородистая собака. Режиссер был болен и лежал на раскладушке.

— Сердце у меня болит, — сказал он.

Я рассказал ему, зачем я пришел.

— Хто вы такой? — спросил он меня с украинским акцентом.

Я рассказал ему, кто я и чем занимался за свою жизнь.

— Быстро не обесчаю, но через пять лет вы будете режиссером, — сказал он. — Только режиссура может пожрать вашу энерхию.

У него был огромный лоб прекрасной лепки и седые волосы. Мы говорили, пока не стемнело.

— Сейчас хто великий художник? — сказал он. — Тот, хто пишет великого человека. А хто пишет человека помельче — тот художник помельче. А хто пишет обыкновенного человека — тот художником почти не считается.

Да, — сказал он, — вдохновение есть. Шо это такое, я не знаю, но это не страшно. Страшно то, шо я не знаю, как его вызвать по желанию.

Все это время я видел ее в окно. Она теперь была в широкой клетчатой юбке и сидела на траве, опираясь на отставленную вбок руку. Юбка раскинулась веером.

— Вот кого надо снимать в кино, — сказал он. — Эти тонкие ручки, эту грацию. Может быть, она не гениальна, но это благородная норма. А мы шо снимаем?

Я провел у него на даче три дня. Мы с ней подружились.

Меня устроили ночевать на веранде, и мне приснилась солнечная паутинка.

Когда я проснулся, сон не исчез. Перед моими глазами сушились на веревке чулки-паутинки. Солнце било мне в глаза сквозь прозрачные паутинки.

— Ну и что? — сказала она независимо. — Подумаешь! Утром здесь первое солнце.

Стянула с веревки чулки и исчезла.

Подросток еще. С юмором. Забавная. Совсем подросток. Пнула ногой бумажку. Подметая пол, вертится, как волчок. Волосы свисают вниз, когда метет. Когда поворачивается — взлетают. Напряженный открытый взгляд, чуть хмурое выражение, чуть нервное лицо. Независимость, любопытство, гордость, комичность. Я никогда не видел таких.

Однажды мы долго разговаривали с режиссером, а потом он отправился в сад с раскладным стулом.

Я услышал шорох в платяном шкафу и отворил дверцу.

Она вылезла из шкафа и гордо продефилировала мимо.

Потом однажды режиссер рассказывал, как он пришел в кино. Ему было около тридцати, то есть примерно столько же, сколько мне в момент разговора, но только за ним была гражданская война, а за мной — Отечественная. Он тоже собирался быть художником, но его приятель-матрос, которого назначили комиссаром Киевской студии, сказал:

— Выручи. Сними картину. Пленка есть.

Он взял пленку и аппарат и в четыре дня снял комедию.

— Это были буколические времена, — сказал режиссер.

Мы опять расстались потому, что старик часто уходил отдыхать. И в этот самый момент она снова вылезла из шкафа. Я не мог сдержать раздражения, потому что почувствовал себя глупо.

— Зачем вы это делаете? — спросил я.

— А вам жалко? Да? — ответила она.

Она все время торчала в этом шкафу.

Был еще случай.

На даче появился какой-то молодой человек, какой-то ученик режиссера. Беловолосый, с розовым лицом. Но я сразу понял, что режиссер интересует его меньше всего.

Однажды он отвел меня в комнату и объяснил мне, что он познакомился с ней раньше меня и что не пора ли мне уезжать с дачи.

Противный этот разговор затянулся, так как белобрысый говорил с паузами и недомолвками, а я не стремился его понять. А когда он это заметил, то прошипел мне, что знает о моем семейном положении и примет меры. На это я сказал ему, что передам весь этот разговор старику и интересно, что из этого выйдет. Он сразу осекся.

Я посмотрел на него внимательно. Такой, знаете, беловолосый слизняк без подбородка, аксолотль из подземной речки, а хорохорится.

— Нет свидетелей. Кто докажет? — спросил он.

Он был прав. Свидетелей не было.

Скрипнула дверца шкафа. Тот резко обернулся.

Физиономия его исказилась. А я счастливо засмеялся, так как догадался сразу.

Открылась дверца, и из шкафа вылезла она. Тот отступил к стене и замигал своими поросячьими глазками. Белые волосы его стояли дыбом вокруг розового залысого лба.

— Вы бейте его посильнее... — сказала она, проходя. — Он этого не любит. Я пробовала.

И вышла.

Я сказал ему:

— Брысь!

И он исчез.

А мне действительно пора было уезжать.

В этот последний день у нас со стариком был очень важный разговор. О памяти, о фантазии, о вдохновении и о том, чем они отличаются друг от друга. И я ему высказал все, что думаю на этот счет, и все, что думают мои приятели Гошка и Алешка, и о том, как мы до войны пустились на поиски красоты и к каким выводам пришли, и о письме в Академию наук, и об ответе на письмо, и о том, что я думаю о его картинах.

Он меня не перебивал и только сказал:

— Я был рассчитан на большее количество фильмов.

Потом я спросил его, что он думает о старомодном понятии «душа» и каков, по его мнению, реальный смысл этого слова.

Он мне рассказал, как он задал этот же вопрос одному старику.

— А что, отец, говорят, никакой души нет, что душа — это рефлексы?

— Это у кого как, — ответил старик. — Если человек хороший, то у него душа есть, а если плохой — это точно, одни рефлексы.

Потом он, как всегда, пошел отдыхать, а я собрался выкупаться перед отъездом.

На протяжении всего этого важного разговора мысль о том, что она сидит там в шкафу и слушает, помогала мне. Я держался хорошо. Нет, черт возьми, я действительно хорошо держался. И понял почему.

Исполненный благодарности, я открыл дверцу и заглянул в шкаф.

— Вылезайте, ну... — сказал я. — Поговорим, как мужчина с мужчиной.

Никто мне не ответил. Я отодвинул пиджаки и штаны и увидел некрашеную стенку шкафа. Шкаф был пуст, если не считать проклятых пиджаков. Но разве они могут заполнить пустоту, скажем так — пустоту шкафа? Ее нет. Вот факт. Ничем его не отменишь, и надо уезжать. Меня вдруг пронзила такая тоска, которая в народе зовется смертной. Я ни разу не помирал, но в этот момент понял, какая тоска может пронзить перед смертью.

А потом я пошел купаться на этот дачный пруд, где в будни пытались ловить карасей, а в воскресные дни по всем кустам стояли полуторки с пивом для любителей коллективных выездов на лоно природы, на полянах бухал волейбольный мяч, по берегам лежали кучки одежды, накрытые панамами, а в пруду шевелились разноцветные резиновые головы.

Это был будний день. На берегу я встретил ее.

Стояла такая жара, что можно было разговаривать откровенно. Все тормоза сдали.

Да, я забыл сказать, что она была гречанка.

Мы произносили слово «Атина». Она произносила, а я только пытался.

— Атина, — говорил я.

— Нет, нет!

— Асина? — говорил я. — Нет? Нет?..

— О боже! — говорила она. — Осина. Слышала бы она!

Все плавилось от солнца. Небо было белое, а вода — слепящая до черноты.

Мы пытались произнести слово «Афина» так, как его произносят греки. Не «ф», а среднее между «т» и «с». Имя богини было первое греческое слово, которое я хотел научиться произносить по-гречески.

Какого черта было смеяться. Она должна была гордиться тем, что изучают ее язык, эта чудачка. Господи, ну кто она такая? Были древние греки — они представляли интерес, древние греки, а не просто греки. Просто греки — это просто греки. Они представляют интерес ни больше и ни меньше других наций. Греки, подумаешь! Разве может она понять?

Когда я напивался — а это случалось редко, слишком много мне для этого надо было выпить, гораздо больше, чем обычно оказывалось в компаниях, куда меня заносил случай, а так вообще я вел трезвый



образ жизни, не пил, — когда я напивался, достаточно мне было услышать греческое слово, чтобы я ушел и рыдал где-нибудь в темноте, в коридоре или на кухне, среди капель из крана и кастрюль, мерцающих в темноте от уличных фонарей.

Какой-то комок вдруг накатывал, поднимался от груди к горлу, и тогда я рыдал даже от такого дурацкого слова, как «канелюры». «Канелюры», — говорил я шепотом и рыдал, захлебываясь, отчаянно и по-мальчишески. «Канелюры», — говорил я, и снова беззвучно и некрасиво распяливал рот, и все старался двумя руками вытереть слезы, а они все бежали и бежали по щекам.

«Канелюры» — это такие бороздки, которые идут вверх по колонне. Вся колонна тогда состоит из натянутых мраморных складок, или пучка каменных струй.

— Канелюры... Я такого слова не знаю, — сказала она. — Это, наверное, не греческое слово.

Молчала бы уж лучше.

Собственно, она и молчит и смеется, и у нее это неплохо получается.

— Ну, ну, не задавайтесь, — говорю я. — Подумаешь, гречанка нашлась.

— Почему нашлась? — спрашивает она. — Я не нашлась.

А я думаю о своих делишках. Личных. Весьма неудачных.

— Чего вы смеетесь, клякса? — спросил я.

— А знаете, какой мой любимый идеал? — спросила она в ответ и почесала ногу об ногу.

Ну вот, договорились до идеалов.

— Какой? — спросил я.

— Гаидэ.

— Кто?

— Не помните? Не помните?! Гаидэ не помните?

— Чего вы расшумелись, какая Гаидэ? Из «Монте-Кристо», что ли?

— А какая же?

— Ну помню.

Она постепенно успокаивалась.

— Я пойду домой, — сказала она.

— Идите.

— Я пойду домой, — сказала она, повысив голос.

— Знаете что? — сказал я. — Ваш идеал Гаидэ? Ну и прелестно. У вас переживания по этой части? Прелестно. А у меня нет переживаний. Ну и привет.

— Я знаю.

— Что вы знаете?

— Что у вас нет переживаний...

— Много вы знаете, — сказал я. — Тоже мне Гаидэ. У каждой порядочной Гаидэ должен быть свой Монте-Кристо, красавец с седыми висками. А у вас есть?

— Есть.

— Ну да? Кто?

— Вы... — сказала она и убежала.

Ну вот, договорились.

Обычно о таких вещах я догадывался раньше.

Но это и было раньше. У меня тогда было тонкое, одухотворенное лицо, и я делал вид, что не знаю, какое я произвожу впечатление, а я всегда знал, и по-

этому, когда я спрашивал: «А я вам сильно нравлюсь?» — та с разбегу отвечала: «Да». Только, несмотря на одухотворенное лицо, художник я тогда был плохой.

Теперь у меня сладко заныло сердце. Я уже со всеми своими личными делишками отвык от этого ощущения. Да, здорово все-таки узнать вдруг, что ты произвел впечатление на такую кляксу.

Старался ли я произвести впечатление? Безусловно. Применял ли я хитрости? Применял. И подчеркнутая грубость и нотки горечи, на которые клюют невинные кляксы, то есть весь антураж, вся старая бутафория.

Нечестно? Как сказать. И да и нет. А честно вот что.

Где-то в душе, в самой глубине, жила боль, что ничего не может быть. На что можно рассчитывать? На почтенье? И все? Потом они обычно выходят замуж, и это остается у них светлым переживанием. Потом они говорят: «За мной ухаживал один художник». Я почти не встречал женщины, которая бы не могла сказать, что за ней ухаживал один художник. Я не хотел быть ничьим переживанием и меньше всего ее. Жирно будет считаться светлым переживанием ее юности. Жирно будет. У меня таких, как она, было сто штук. Вранье. Таких, как она, не было.

Дело не в юности ее. В ней было что-то от Греции. От той старой светлой Греции, которая заставляла меня рыдать, когда я пьяный, и твердо стоять на земле, когда я трезвый.

Я уехал.

Неделю я ломал себя, пытался задушить воспоминание, не смог.

Я совершал велосипедные прогулки, радиус которых все удлинялся, пока однажды я не обнаружил, что еду по тихой асфальтированной дорожке прямо к даче режиссера.

Я слез у калитки и заглянул внутрь. Дача была пуста. Только огромная собака вышла из конуры и посмотрела на меня внимательно.

Я пошел обратно на подгибающихся ногах и держась за велосипед — такое меня било волнение.

На шоссе я увидел летящую навстречу машину. Только когда она приблизилась, я понял, что едут она и старик.

Глаза ее расширились мне навстречу, как два цветка, и она все смотрела на меня, пока приближалась машина.

Старик сидел рядом с шофером. Я поклонился им и сделал вид, что прогуливаюсь в этих местах. Машина укатила.

Через двое суток в ночных известиях я услышал по радио, что умер великий режиссер.

Потом были похороны, и я сам вытаскивал гроб из серого автобуса с черной полосой, а потом стоял в почетном карауле.

Тихо играли скрипки, плакали люди, и его было еле видно среди цветов и лент.

Когда все кончилось, я остался один. Совсем один. Совсем. Этой девушки я больше не видел никогда и даже не знаю, кто она такая, так как ни о чем не расспросил ее, а теперь спрашивать было некого.

Через месяц, когда я оправился после потери, ко мне пришли мои приятели Гошка и Алеша, у которых тоже были свои неудачи, и Гошка сказал:

— Судьба похожа на сумасшедшего — визжит, плачет, смеется, ухает, сопит, чавкает, — и ни одного приличного звука.

— Что ты считаешь приличным звуком? — спросил Алеша.

— Между прочим, не то, что ты думаешь, не музыку.

— Я не думаю, — сказал Алеша. — А что?

— Когда летним утром деревья стоят в росе, а вдалеке бьют молотом по наковальне.

— Ух ты!.. — сказал Алеша.

— А что?

— Здорово...

— Представляешь? — спросил меня Гошка.

— Да, — сказал я.

— Знаешь, какой звук? Когда хочется подхватить: «Мы кузнецы, и дух наш молод, — сказал Гошка, — куем мы счастия ключи».

— Да, — сказал я. — Надо работать.

А сейчас я случайно встретил ее в гостях.

— Меня зовут Костей, — сказал я, когда мы удрали с вечеринки.

— Господи, — сказала она. — А вы меня, конечно, не помните...

Конечно, я ее помнил.

Я пожал ее руку — очень вежливая мягкая рука. Потом мы поболтали о том, о сем, а потом я с ней попрощался и усадил ее в машину, и она уехала домой. А я вернулся на вечеринку. Я уселся в углу и стал тихо-тихо смотреть телевизор и все старался забыть ощущение, которое пронизало меня, когда я пожимал эту тихую вежливую руку и на одном из нежных пальцев почувствовал гладкое кольцо.

Как вы думаете, зачем я рассказал эту печальную и обыденную историю о том, как человек не понял другого, не догадался, прошел мимо красоты, а потом удивляется, что ему не сладко, когда обнаруживает, что веселая птица-счастье окольцована чужим кольцом?

Нет. Не угадали. Я рассказал эту историю потому, что, когда я познакомился с ней, мне было тридцать два года, а ей шестнадцать. А сейчас не за горами конец двадцатого столетия.

Давайте поговорим о чем-нибудь таком. О звездах, например, или о дорогобужском сыре — как его есть, снимать ли серебряную фольгу перед тем, как резать, или совсем наоборот — оставлять ее? Или поговорим о том, как парочки целуются в подъездах. Только не стоять на месте. Двинемся, граждане, двинемся.

Все дело в том, что неизвестно, какое твое движение может решить проблему, поставленную жизнью. Ведь даже отсутствие движения — это движение. Ничто не останавливается, пока ты сидишь и ждешь. Все движется вокруг и, проезжая мимо тебя, само возьмет да и привезет тебя к цели. Только вся беда в том, что о н о привезет тебя совсем не туда, куда

тебе надо. А кстати, что такое это «надо»? Ты-то сам знаешь, что тебе надо?

А ведь все-таки стремишься.

Короче говоря, все сводится к простому вопросу, и потому ответ на него непонятен: как запрограммировать судьбу?

Я сидел и смотрел телевизор, где показывали тошнотворно хорошую программу, и думал: зачем мне эта программа, если это чужая программа и в ней запрограммировано чужое представление об удовольствиях, не совпадающее с моим?

Я сидел и думал: на что я надеялся, когда увидел, как она опустила журнал и посмотрела на меня, какова моя собственная программа удовольствий, ежели мне не годится рекомендованная, и почему, собственно, меня так поразило это тысячепудовое кольцо у нее на пальце?

Какие чувства я испытал, когда обнаружил кольцо? Такие же, как и вы. Привычные. Я, конечно, не содрогнулся, обнаружив это кольцо, не застонал, не заскрежетал зубами и не упал без чувств. Просто, пожимая ей руку, я сказал:

— Ну вот.

Она посмотрела на меня снизу вверх, потом вздохнула, а потом сказала:

— Да...

А потом сказала:

— Да, да...

А потом пожала плечами.

А потом я посадил ее в машину и погрузил туда же тысячепудовое золотое кольцо, и, прежде

чем захлопнулась дверца, я успел швырнуть на заднее сиденье свои дурацкие надежды. Надежды на что?

А потом я иду обратно в гости, и так как я уже сыт по горло, то я стараюсь смотреть по телевизору тошнотворно прекрасную, совсем не подходящую мне программу и занимаюсь тем, что пытаюсь убить время, а оно себе течет и течет, и ему до нас столько же дела, сколько нам до марсиан.

Я выгляжу лет на сорок и чувствую себя соответственно, а жить мне полагается еще минимум столько же. Тысячу лет люди искали эликсир молодости, а он оказался под носом. Черт возьми, кто мог подумать, что основная причина преждевременного старения — это ложь, обыкновенная человеческая лживость.

Ложь как следствие хитрости, которая спасала человека от врагов, оказалась главным врагом, главной причиной старости. Первыми додумались до этого мы с Гошкой и Алешей, только нам никто не поверил тогда. А потом все подтвердилось.

То раздвоение личности, в котором жил человек, когда он всю жизнь говорил не то, что думал, то есть всю жизнь бил кувалдой по самым тонким и чувствительным своим нервным связям, бил по творчеству, по вдохновению, — это раздвоение личности оказалось причиной необратимого разрушения самой этой личности, сиречь — старостью.

Ну все перепробовали. И физику, и биологию, и химию, и биофизику, и биохимию — забыли только этику, которая и наукой-то не считалась.

А оказалось, выход простой, как репа: не лги — проживешь дольше. Но вот это-то и оказалось труднее всего.

Обнаружилась странная вещь. По улицам ходили бывшие старцы, которых уже нельзя было отличить от молодых, потому что они научились говорить правду и тем отхлопотали себе двойной срок жизни.

И в этот момент обнаружилась еще одна странная вещь. Оказалось, что говорить правду окружающим гораздо легче, чем самому себе. Вот что обнаружилось, граждане. Вот что было ужасно. Оказалось, что благодаря предыдущему воспитанию накопилось такое количество общих мест и штампов мышления, что бедная человеческая единица, пытаясь сказать самому себе правду о собственных желаниях, не могла понять, чего она действительно хочет, а что ей только кажется, что она хочет или должна хотеть. Потому что без правды о своих желаниях нельзя было установить правду о форме своей личности, то есть о своем характере. То есть о той особенности своей, которая сможет расцвести неповторимым цветком и сделать счастливой самое личность и окружающих ее.

А выход опять был под носом, и мы с приятелями, видимо, знали о нем, но помалкивали по многим немаловажным причинам, не последняя из которых была та, что нормальные люди могли посчитать нас сумасшедшими.

«Любопытно только, что она и сейчас выглядит,

как будто ей двадцать лет», — сидя у телевизора, думал я об ушедшей женщине. Видимо, она научилась не врать гораздо раньше меня. А что толку? Обыкновенная женщина. Какая там Древняя Греция!

Теперь внимание. Теперь сюжет этой обыденной истории начинает делать головокружительный поворот.

Только я подумал о том, как она молодо выглядит, и это, наверно, потому, что она научилась не врать раньше, чем я, и потому разрыв в возрасте, который так испугал меня когда-то в незапамятные времена, теперь еще увеличился и мы все отдаляемся друг от друга со скоростью непреодоленной лжи, — только я об этом подумал, как (внимание!) дикторша последних известий, улыбаясь, начинает читать по бумажке, которую кто-то ей положил на стол, что в районе Караганды опустился межпланетный корабль неземного происхождения.

А потом дикторша из телевидения перестает улыбаться и, запинаясь, читает второй раз то же самое сообщение, а потом экран выключают и появляется табличка — технические помехи, а потом экран снова вспыхивает и мужчина-диктор с некрасиво пляшущей челюстью в третий раз читает то же самое сообщение, и тогда мы помаленьку начинаем соображать, что это не надоевшая всем телевизионная хохмочка, которую называют режиссерским приемом, что-то вроде горчички на скучной сосиске обыденной информации, а что все это правда, и что кто-то прилетел наконец, и спрашивается — что теперь с этим делать, а?

Дальше расскажет физик.

СЛИШКОМ ДОЛГОЕ ОЖИДАНИЕ. РАССКАЗЫВАЕТ АЛЕША АНОСОВ ПО ПРОЗВИЩУ РЫЖИК. КРАХ ВТОРОЙ

Мы сидели у Памфилия и пытались привести его в себя, разговорить, а он все не поддавался, посылал нас изредка нехорошими словами, а когда мы поднимались уходить, он отворачивался к стенке на своей бугристой тахте, и тогда мы слышали дыхание его прокуренных легких, и тогда мы шли от дверей обратно и глядели на его затылок, который был выразительней его лица, так как лицо его ничего не выражало вовсе, а затылок выражал хотя бы презрение к нам, так ничего и не понявшим.

И так мы танцевали от двери к тахте некоторое долгое время и все больше увязали в липучей паутине бессмысленности. И потому, когда раздался осторожный стук в дверь, мы, честно говоря, обрадовались.

— Да! — крикнул Костя. — Да, входите!

— Хоть какая-то живая душа, — сказал я. — Слава богу.

— Да! — крикнул Костя. — Да! Входите!..

Дверь приоткрылась, на пороге стоял невысокий человек в берете. Мы смотрели на него, он на нас.

— Здравствуйте, — тихо сказал он.



— Закройте дверь! — рявкнул Гошка, не поворачиваясь. — Дует...

Человек вышел и закрыл дверь с той стороны.

Мы переглянулись.

— Кто это? — спросил я.

— Не знаю, — ответил Костя, идя к дверям.

Человек стоял на лестничной клетке и ждал.

— В чем дело? — спросил Костя. — Почему вы ушли?

— Вы сказали «закройте дверь».

— Недоразумение, — сказал Костя. — Войдите.

Тот вошел и снял берет.

— Меня направили к вам, — сказал он мне. — Я ваш новый...

— Ко мне? — удивился я.

— Извините, я продолжу... — сказал он. — Я ваш новый ассистент.

— Так. Слушаю вас, — сказал я.

— Извините, это все, — сказал он.

— Немного, — сказал я.

— Извините.

Костя посмотрел на него внимательно.

— Странные у тебя ассистенты.

— Начальству виднее, — ответил я Косте и обратился к нему: — Подождите нас.

— За дверью? — спросил ассистент.

Я откашлялся.

— Гоните его к черту, — сказал Гошка, и мы увидели его блестящие глаза, обращенные к ассистенту.

— Не обращайте внимания, — сказал я этому человеку. — Сядьте куда-нибудь.

— Извините, а куда? — спросил тот.

— К черту! — сказал Гошка.

Мне хотелось сказать то же самое, но я сдержался.

— Вы плохо начинаете, — сказал я ему. — Мне нужны инициативные сотрудники.

— Он смущается, — сказал Костя. — Не тронь его. Вы смущаетесь?

— Не знаю, — сказал ассистент.

Костя побагровел.

Я взял ассистента за руку и подвел к креслу в дальнем углу.

— Садитесь. Почитайте вот это... — я сунул ему в руки журнал. — Здесь есть статья об инициативе. Вам будет интересно.

— Я почитаю, — сказал он.

Мы подошли к Гошке.

— Зачем вы оставили его здесь? — сказал он. — Он мне не нравится.

— Гошка, — сказал я, — кончай все это. Надоело. Старый ты уже для таких штучек.

— В том-то и дело, — сказал Гошка. — Вы болваны. Не поняли, что произошло.

Он ошибался. Мы прекрасно все понимали. Не хуже, чем он. Только мы сдались, а он нет. Вот в чем дело. И то, что он не сдался, было хуже всего. Чересчур все это напоминало безумие. И сейчас Гошка пропадал.

Я не верю в то, что человек состоит из пищи, которую он ест. И я не верю, что можно заменить слово «душа» словом «психология», а потом считать ее решающей системой.

Душа, а проще сказать, личность человека, это, видимо, все-таки не просто система, даже самая сложная. Хотя бы потому, что любая система может и не работать, если питание отключено, и все-таки оставаться системой. А личность человека, его душа — это процесс, работа. И устойчивость ее — это не устойчивость камня, лежащего в овраге, а динамическая устойчивость волчка, гироскопа, сопротивляющегося отклонению.

Я не верю в статику души. И потому я считаю, что искусство всегда держалось на исключениях. С нормой ему делать нечего. Норма — это инструкция. Может быть, я считаю, что искусство занимается патологией? Нет. Просто искусство интересуется теми исключениями, в которых оно предчувствует норму более высокую, чем обыденность.

Возьмите любой образ, самый реалистический и достоверный. Ну хоть Наташу Ростову, например. В финале она добродетельная самочка. А поначалу она обещала норму более высокую и потому была исключением. Обещание не выполнено, и читать про это неинтересно. Почему любят детей? Потому что они обещают. Отнимите детское у короля Лира, и останется вздорный старик, псих ненормальный.

Гошка был исключением из правила и потому погибал. И погибал он из-за этого проклятого марсианина, ничем, казалось, не отличавшегося от людей.

То есть, конечно, он прилетел не с Марса, но название его планеты почти невозможно выговорить, поэтому его стали называть марсианином. Ведь называли же на Руси немцами всех иностранцев. Не правда ли?

Помните, что произошло, когда прилетел марсианин? Ну вы же прекрасно помните. Немногие тогда понимали весь обыденный трагизм случившегося.

Праздновали, торжествовали, печатали статьи и интервью. Шуму и треску было столько, что все уже начали уставать, как при затянувшемся кинофестивале. И вот тогда никто еще ничего не понял, не поняли смысла того, что произошло, но уже ощущали — что-то случилось.

А потом разом прекратились все сообщения, перестали печатать портреты этого — хотел сказать, человека — марсианина.

Волнение медленно угасало. Какое-то время оно поддерживалось на Западе смутными слухами о неких особенных данных, которые он сообщает сейчас ученой и правительственной комиссии. Все ждали сенсационного коммюнике, и возникли даже страхи. Но когда оно было опубликовано, это коммюнике, страхи утихли и все успокоилось.

В коммюнике говорилось, что марсианин сообщил чрезвычайно важные научные данные об обществе его планеты, о природе и энергетическом потенциале планеты, что, как предварительно удалось выяснить с помощью электронного перевода, на планете существует единая общественная система, что его планета не знает войн и потому настроена дружественно к обитателям Земли, что марсианин в настоящее время проходит курс изучения языка, после чего Академия наук будет печатать многотомное исследование, основанное на данных, сообщаемых марсианином, и по-

тому вклад его в науку неоценим. И все. Ну вы же помните.

И все.

И тут, наконец, все поняли, что произошло.

А произошло вот что.

Как там ни крути, а в душе каждого человека живет смутное представление о необыденном.

Смутное потому, что точных критериев необыденного нет.

И потому произошла ужасная вещь.

Если марсианин прилетел сюда сообщить научные данные, то грош цена этим данным, если рухнул некий неопределенный идеал необыденности, который втайне каждый относил почему-то к другим планетам. В том-то и дело, что прилетел.

Прилетел и стал давать автографы. И вся столетняя мечта о другом, недостижимо необыденном мире рухнула. Вся она свелась в общем к нормальному интервью:

— Ну как поживаете?

— Ничего.

— Расскажите слушателям, как вы добились таких результатов.

— Сначала у нас ничего не получалось, но потом...

Стоило мечтать о прилете марсиан, чтобы услышать разговор типа:

— Ну как у вас с продуктами?

— Ничего. А у вас?

А как же «Аэлита»?

О господи! Стоило дожидаться столько лет встречи с пришельцем, чтобы увидеть на всех экранах этого молодого человека, которыми у нас самих хоть пруд пруди.

Интерес к нему держался до тех пор, пока еще ощущалось, что вот он марсианин, а поди ж ты, ну совсем как мы с вами, и еще некоторое время, пока ожидали сенсационных сообщений. А когда началась нормальная научная работа и стало известно, что их жизнь отличается от нашей только деталями совершенно несущественными, если вспомнить, что речь идет о другой планете, то все поняли — ничего не произошло. И это самое страшное.

Вы же помните прекрасно, как все пережили тяжелый, ни с чем не сравнимый психологический кризис.

Конечно, все давно уже поняли, что нечего ждать милостей от природы и прочее и человек должен сам совершенствовать себя и свою жизнь, не надеясь на варягов. Все так. И казалось бы, уже примирились с этим. Все так, но казалось, казалось все же... Вдруг обнаружили, что в душе у каждого жил, а теперь умирает ребенок. Который верил в Деда Мороза и Снегурочку, верил в необыденное. А тут прилетел обыкновенный молодой человек, и рухнула иллюзия. Приехал молодой человек и привез кое-какие новинки техники, сообщение о том, что с продуктами у них неплохо и профсоюзные взносы уплачены за отчетный период, есть, конечно, кое-какие недоработочки, но в основном дела идут хорошо и дружными усилиями они избавятся от всех недостатков в ближайшую тысячу лет.

Мир повзрослел как-то сразу в течение нескольких дней.

Ладно. Детство прошло. Но наступило зрелое мужество. Надо было принять, примириться и думать о том, что делать дальше.

Теперь надо вернуться к этому проклятому клоуну Памфилию.

Вы, конечно, помните, что он говорил о той древней скульптуре?

То, что он говорил, достаточно хорошо известно, так как в свое время над этим много смеялись.

Он говорил, что всякий образ, родившийся в мозгу человека при известных условиях, может материализоваться в реальной жизни самостоятельно, так как будет создан по тем же законам, которые образовали его в мозгу человека.

Ну, посмеялись и забыли.

И только Гошка свято верил в это.

Мы сначала тоже не придали значения тому, что сказал Памфилий. Он поэт, и ему это полагается. «Ничего, — подумали мы. — Из этого всего получится, может быть, стих, а может быть, песня. И Гошка освободится».

Практика показала обратное.

Оказалось, что мы его еще мало знаем. А кого мы хорошо знаем, хотел бы я спросить? Может быть, себя мы хорошо знаем? Я пошутил, конечно.

Не получилось ни песни, ни стиха, а пришло письмо от Кати, моей жены.

Я тогда был в очень сложной командировке и, как всегда, заканчивал монтаж, как всегда, удивительно прекрасной схемы. Сколько я их состряпал за свою жизнь, одна лучше другой, но ничего существенного в мироздании от этого не произошло. Правда, на этот

раз, кажется, тут действительно было нечто стоящее, и поэтому выбраться мне было затруднительно. А надо было. Потому что в письме было написано:

«Приезжай, Гошка пропадает».

Да, не получилось песни.

На этот раз песня обернулась острием внутрь, и Гошка пропадал.

Он пропадал потому, что все оказалось неправдой.

Разве так он представлял себе этот прилет?

Что угодно он мог себе представить, только не прилет этого заурядного марсианина, которому так обрадовались все мы, а потом постарались позабыть и о нем и о разочаровании. Ничего. Обошлось. А у него не обошлось.

Сейчас надо рассказать о том фокусе, который он проделал с нами много лет назад.

Когда Гошка пришел к мысли, что образ возникает в мозгу по тем же законам, что и его жизненный прототип, и что, стало быть, все, что возникает в мозгу, может при известных условиях повторяться в жизни, он обрадовался и успокоился.

Ну как же? Если изобретатель представляет себе во всех деталях двигатель, который он нигде не мог увидеть, то этот двигатель можно построить и он будет работать. Тут, правда, вмешивается воля и в момент воображения и в момент воплощения. И поэтому это пример элементарный. А образ возникает независимо от воли, и материальное подобие этого образа должно возникнуть независимо, значит надо ждать, пока законы, которые вызвали в мозгу этот образ, са-

ми создадут его реальный прототип. А сколько ждать? Может быть, жизни не хватит? Может быть. Иногда простое ожидание — героизм.

И Гошка ждал эту женщину, которая прилетала и улетела назад, оставив после себя головокружение и тоску. Но годы шли, люди занимались делами дня, и ожидание становилось нелепым. Менялись взгляды, делались открытия, ветер возвращался на круги своя, а Гошка ждал. Он уже становился анахронизмом.

Человечество трезвело, а «рыцарь Гринвальюс все в той же позиции на камне сидел», и над ним смеялся Козьма Прутков.

И тогда, много лет назад, мы, как и теперь, пришли к Гошке и тоже сразу поняли, что дело неладно.

Глаза у него лихорадочно блестели, трубка у него гасла, и на одну понюшку табаку он тратил полкоробка спичек.

Комната у него была чисто прибрана, на столе стояли цветы, и через каждую фразу он оглядывался на дверь. А когда он молчал, на его лице было такое выражение, будто он говорит быстро и жалобно.

Мы ему тогда сказали примерно то же самое, что и сейчас:

— Гошка, кончай это дело. Фантазия фантазией, но надо заниматься земными делами. Посмотри на себя — ты похож на ненормального.

— А что есть норма? — спросил он, и посмотрел на дверь, и привстал.

Мы тоже оглянулись. Дверь как дверь, белая и убедительная.

— Кого ты ждешь? — спросили мы.

— Ее, — ответил он.

Мы, помню, начали о чем-то допытываться, но услышали сначала бормотанье, а потом он вытер лицо и начал рассказывать спокойно и как бы удивленно.

Из нас троих Гошке больше всех было свойственно интуитивное мышление. Во всяком случае, у него эта третья сигнальная система работала чаще, и догадки его были неожиданнее, чем это бывало у нас. Оправдывались и подтверждались самые странные его идеи.

Я уж не говорю о нашумевшем его предсказании насчет золотых рудников в районе Джиланчика. Это когда он еще занимался поисками дьявола, а нашел зеркало. Все тогда отнеслись к этой догадке как к очередной мистификации. А когда через некоторое время здесь открыли самые мощные золотые пласты на земле и появилась статья в «Комсомолке» — «Сокровища красных песков», — о его догадке постарались забыть.

Но совсем забыть не удавалось, и отношение к Гошке было странное, какое-то раздраженно-боязливое. Ну не может же быть, чтобы человек вот так, за здорово живешь, без всяких исходных данных взял да и предсказал геологическое открытие? И не то чтобы сделал геологическое открытие, а предсказал саму возможность этого открытия.

Но все дело в том, что интуиция — это вовсе не отсутствие исходных данных и фактов. Она просто опирается на факты и связи настолько тонкие, что они прямо входят в подсознание, минуя размышление, и поэтому кажется, что они взяты с потолка.

Он посмотрел в потолок.

— Не кажется ли вам, что это произойдет через несколько минут... может быть, уже произошло... — сказал он с жуткой убедительностью.

— Не сходи с ума...

— Не заметили ли вы сегодня странную многолюдность на улицах? — спросил он. — Отвечайте, не увиливая, ну?

Мы молчали.

— Заметили, конечно, — сказал он. — Только трусите признаться.

Мы действительно заметили и потому теперь начали трусить.

— Смутные слухи, — сказал Гошка. — Смутные слухи. Я ехал в такси, и шоферша молодая рассказала мне о пункте, куда ей надо будет мчаться в случае начала войны. Понятно? — спросил Гошка.

Мы молчали.

— Потом милиционер остановил такси, — сказал Гошка. — Это было начало паники. Город сейчас как огромная гостиница. Все знают, как поступать в случае налета. А на самом деле это прилет пришельцев. Я об этом сразу догадался. А потом передали по радио, что население должно быть готово к атомным взрывам или аннигиляции... Ну смотрите, как разворачиваются события... Тоскливый ужас перед крахом человечества и в то же время жуткое любопытство, которое я заметил у окружающих и которое передалось мне... Потом это предупреждение по радио — они прорвались... То есть где-то на Западе их ракеты приняли за враждебные земные, и по всем вычислениям плоского разума их надо встречать плохо, так